

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД

ДАРЬЯ
ПЛЕЩЕЕВА



ИСТОРИЧЕСКИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Исторические приключения (Вече)

Дарья Плещеева

Наблюдательный отряд

«ВЕЧЕ»

2015

УДК 821-311.3
ББК 84(2)

Плещеева Д.

Наблюдательный отряд / Д. Плещеева — «ВЕЧЕ»,
2015 — (Исторические приключения (Вече))

ISBN 978-5-4484-7212-1

1913 год. Война уже на пороге. Рижские заводы и фабрики выполняют военные заказы, каждая цифра и подробность имеют огромное значение для разведчиков Эвиденцбюро. Но «наблюдательный отряд» российской контрразведки в Риге – на страже. Контрразведчикам становится известно, что врага снабжает сведениями человек, который связан с заводом «Мотор», по банальной причине – его шантажируют. Кто этот человек? Какое страшное преступление он совершил в прошлом? Как о нем стало известно в Эвиденцбюро? Ситуация в точности как в поговорке «поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Но бывший полицейский, а ныне агент контрразведки по прозвищу Лабрюйер уж если берет след, то идет до конца!..

УДК 821-311.3
ББК 84(2)

ISBN 978-5-4484-7212-1

© Плещеева Д., 2015
© ВЕЧЕ, 2015

Содержание

Пролог	5
Глава первая	8
Глава вторая	18
Глава третья	32
Глава четвертая	47
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Дарья Плещеева

Наблюдательный отряд

Пролог

На стол перед господином Ронге легла папка, заранее раскрытая услужливым Зайделем. Ронге стал молча читать документы. Документов было немного – два листка. Зайдель стоял перед ним в позе легчайшего, едва намеченного поклона и улыбался уголками губ. Он знал, что донесение начальству понравится. После рижского провала агентов Щеголя, Атлета, Клары и Птички Ронге был мрачен – еще и потому, что они унесли (двое – на тот свет, а двое – возможно, в Сибирь на каторгу, – многие имена и секреты, с которыми еще только Эвиденцбюро начало работать. Но кое-какие их затеи удалось возродить к новой жизни.

И вот – донесение, в котором столько важных цифр!

Император Франц-Иосиф глядел с портрета вниз и, кажется, даже вытягивал шею, чтобы рассмотреть исписанные мелким и четким почерком бумажки. Но при этом соблюдал императорскую осанку – с одной стороны, без нее на портрете, что висит над рабочим столом в кабинете Максимилиана Ронге, возглавляющего военную разведку Австро-Венгерской империи, никак нельзя, а с другой – она с юности так въелась в кровь и плоть, что, кажется, и помирать Франц-Иосиф когда-нибудь будет по стойке «смирно». Впрочем, о смерти он в свои восемьдесят два года еще особо не думал – был бодр, деятелен, мудро правил своей державой. И не старался окружать себя ровесниками, которые большей частью уже выжили из ума и несли старческую ахинею. Вот Ронге – во внуки императору годится, еще и сорока юноше нет, а такая должность ему доверена!

– А ведь неплохо, – сказал Ронге. – Весьма неплохо. Надо премировать эту Фиалку...

– Осмелюсь напомнить, заслуга Садовника не меньше, господин Ронге. Это он нашел Крота. Без него Фиалка бы не справилась.

– Она очень ловко поговорила с Кротом, судя по этим цифрам. Она и в Бремене хорошо себя показала, способности к языкам просто удивительные. Умная девочка, способная, с годами станет посильнее бедной Клары... Да... Жаль Щеголя и Клару, они хорошо поработали...

Зайдель покивал – он тоже огорчился, узнав о смерти ценных агентов. Вспомнилось милое круглое личико Клары, обрамленное пышными тускло-рыжими волосами, если распустить – достанут до пояса, а то и ниже... хотя хитрая Клара наверняка подкладывала в свое бандо и чужие волосы, так многие дамы поступают... и уже не распустить эти ароматных волос никому...

Зайдель не был сентиментален – не то ремесло, чтобы иметь возвышенные чувства. Просто обидно стало – нет больше красивой женщины, с которой при желании можно было бы сговориться. У дам, служивших в Эвиденцбюро, предрассудков по этой части не имелось.

– Но Клара оставила хорошее наследство, – заметил он, имея в виду папку с бумагами.

– Да. Я не был уверен, что Крот нам пригодится, ведь и кроме него были источники информации. Но после того, как Клара со Щеголем утонули, а Атлет с Птичкой сели за решетку...

– После этой беды мы многих источников лишились, и настало время Крота. Но, господин Ронге, раскопать секрет Крота при желании может всякий, кто не пожалеет денег. И тогда Крот станет снабжать сведениями того человека, а нам достанется то, что он сочтет нужным сообщить.

Зайдель был умен – не стал показывать начальству, что в новой шахматной партии видит на два, а то и на три хода дальше.

– Наши драгоценные союзники, – сразу понял Ронге.

Союзицей Австро-Венгрии была Германия, и союзницей давней – Тройственный союз, куда входили эти два государства и еще Италия, возник тридцать лет назад. Италию в него, правда, затащили с немалым трудом. Этот трюк проделал Бисмарк, ухитрившись поссорить Италию с Францией. Именно на Францию он был нацелен изначально, хотя возможная война с Россией тоже предполагалась. Но Италия была ненадежным союзником и отказалась оказывать военную помощь Германии и Австро-Венгрии, если одним из противников будет Великобритания. Англичан итальянцы сильно боялись – итальянские берега были слишком уязвимы, а флот Англии – слишком силен. Да и вообще – Италия гарантировала лишь свой нейтралитет в случае русско-австрийской войны.

Итальянские политики отчаянно лавировали – и Тройственного союза не покидали, и пытались наладить хоть какую дружбу с Францией. Потому что таможенная война, которую Франция объявила Италии, немногим лучше настоящей, с винтовками и пушками. В настоящей гибнут всего-навсего солдаты, а в таможенной гибнут деньги...

Пойдя на многие уступки, Италия заключила с Францией торговый договор. И Ронге подозревал, что итальянцы потихоньку снабжают французскую разведку сведениями о планах и тайных действиях Тройственного союза, которого Италия не покидает. И, если начнется война, Италия – весьма ненадежный соратник.

Так что Ронге хорошо понял Зайделя. Итальянский агент – теоретический агент, но где гарантия, что он уже не прибыл в Ригу? – может, собирая ценные сведения, даже не зная, как ими в конце концов распорядится начальство. Возможности такие: первая – сведения будут честно переданы немцам или ведомству Ронге; вторая – сведения будут переданы французской разведке, которой тоже любопытно, как на самом деле готовится к войне союзница Франции Россия; третья – сведения будут переданы русским вместе с источниками этих сведений, чтобы русская контрразведка ликвидировала дырки, из которых просачивается информация.

– У русских есть поговорка – «купить кота в мешке», – сказал Зайдель. – Она мне нравится. Я видел в журналах фотографические карточки – русский рынок в провинции и мужик в лаптях, с бородой, настоящий русский мужик, продает нечто в мешке. Если открыть мешок – животное убежит. Приходится покупать, не глядя. Значит, покупатель увидит этот товар только дома, в комнате, и тогда поймет, какого цвета животное, кот это или кошка. Италия сейчас – «кот в мешке». Мы ее приобрели, покупка стоила денег, а что там, в мешке, на самом деле – мы узнаем, когда начнется война.

– Благодарю, – ответил Ронге. – Очень удачное сравнение. Кстати – удалось найти второго переводчика?

В Эвиденцбюро поступали кипы газет со всей Европы и даже кое-что из Америки. Все это следовало анализировать, выкапывая из пудов ахинеи крупницы важных сведений. Положим, французский язык знает каждый хорошо воспитанный офицер, но итальянский – разве что ценитель оперы. Хороший переводчик с английского – тоже не каждый день попадается. А ведь еще требовались переводчики с турецкого и с тех невразумительных славянских языков, что процветают на пространстве от Варшавы до Софии.

– Есть одна пожилая дама, – неуверенно сказал Зайдель.

– Дама?

Эту переводческую породу Ронге сильно не уважал. Старые девы, в юности обученные языкам, были дешевой рабочей силой у издателей – за гроши переводили романы, меньше всего беспокоясь о качестве и точности. Потому Ронге и удивился предложению Зайделя.

– Вдова полковника Хофмана.

– Хм...

– Большая патриотка.

– Но дама.

– Но патриотка.

– Но дама, Зайдель! Существо изначально безмозглое... Хотя...

– Итальянский язык знает в совершенстве – готовилась в певицы, имела дивной красоты меццо-сопрано, я узнавал, могла бы петь во всех операх Пуччини и Верди. Но предпочла брак и звание верной жены и хорошей матери.

– Достойное решение.

– Продолжает давать уроки пения и фортепиано. Пенсия за покойного мужа невелика. И вот, с одной стороны, превосходное знание итальянского, а с другой – дама остается дамой... Но другой кандидатуры у нас пока нет.

– Вот что, Зайдель, приведите ее ко мне. Хочу сам с ней побеседовать...

Зайдель чуть заметно улыбнулся.

– Будут еще распоряжения? – спросил он.

– Да. Телефонуйте господину Фрейду. Пусть отвлечется на минутку от своих истеричных пациенток и ответит на вопрос...

Зайдель чуть ли не из воздуха достал блокнот и карандаш, чтобы записать вопрос.

– ...какой извращенной фантазией нужно обладать, чтобы назвать аэроплан «Дельфином»?

– Господин Ронге изволит шутить?

– Не совсем, Зайдель. Я хочу понять, что за человек придумал этот аэроплан. Вот этого, – Ронге указал на тонкую картонную папку с завязками, – мне мало. Прислали вчера из Берлина, собрали все, что нашли, а нашли маловато. Тут только послужной список – но весьма любопытный...

Ронге развязал тесемки и достал отпечатанные на «ремингтоне» листы, но заговорил, почти в них не глядя:

– Виктор Дыбовский, служил на эскадренном броненосце «Николай Первый», участвовал в Цусимском сражении, побывал в японском плену, затем служил на Черном море и на Балтийском, командовал миноносцем... ну, тут полно ненужных подробностей, хотя – как знать... Окончил Морской корпус в Санкт-Петербурге, потом офицерский класс учебного воздухоплавательного парка, два года назад... А год назад окончил в Севастополе авиашколу и получил звание «военный летчик». Но этого ему мало – он задумал аэроплан собственной конструкции, для военных действий совместно с флотом. И этот аэроплан будут строить на рижском «Моторе».

– Тут нам Крот и пригодится.

– Да. Возьмите папку, Зайдель, подумайте, что из всего этого можно извлечь и что к этому можно добавить. Прикажите русским переводчикам посмотреть газетные подшивки за два года, может, имя вынырнет. И переправьте сведения в Ригу. Надо же, аэроплан – и вдруг «Дельфин»...

Глава первая

Трудно говорить о важных делах под детский радостный визг. И это бы полбеда, если собеседник приятный. Но Лабрюйер не считал Енисеева таким уж приятным собеседником. Он все время ждал подвоха. Не умел прощать Лабрюйер насмешек и вранья – а Енисеев и посмешище из него делал, и врал неоднократно.

Детей привели в фотографическое заведение по случаю Рождества, чтобы сделать семейные карточки: маменька сидит в кресле с вычурной спинкой, папенька стоит рядом, а детишки, числом шесть, приникли к ним справа и слева, старший мальчик вообще сидит на полу, младшая девочка у маменьки на руках. Сбоку, разумеется, нарядная елка со свечками, яблоками, шарами и пряниками. Выстроить всю эту компанию и добиться от возбужденных крошек неподвижности – задача сродни Геркулесовым подвигам. С ней и пытался сейчас справиться Хорь.

Енисеев слушал детские голоса и усмехался в усы.

– Это задачка, решить которую можешь только ты, брат Аякс, – сказал он.

Лабрюйер нехорошо на него посмотрел. Не следовало Енисееву называть его Аяксом, лучше бы ему забыть, как они колобродили на штранде, а газетчики называли их «два Аякса». Аякс Локридский и Аякс Саламинский, комические персонажи оперетты «Прекрасная Елена», в которой оба чуть ли не все лето подвизались.

– Да, да. Ты – здешний. Ты понимаешь то, чего все мы не понимаем, – продолжал Енисеев. – Ты знаешь всех...

– Не всех, – буркнул Лабрюйер.

– Нужно раскопать историю двадцатилетней давности. А может, и не двадцатилетней. Один господин, которого все считают благопристойным и порядочным членом общества, натворил что-то такое, чем его можно шантажировать. И, в общем, уже шантажируют... Выходит, есть свидетельства его безобразий – письменные и, хм... человекообразные. Иначе шантаж, сам понимаешь, не имеет смысла. Сам он ни за что не признается. Значит, нужно понять, что это такое.

Разговор этот шел в лаборатории «Рижской фотографии господина Лабрюйера».

Фотографическое заведение решено было сохранить – как одну из баз наблюдательного отряда, дислоцированного в Риге. Хотя Эвиденцбюро знает, что хозяин связан с российской контрразведкой, но беда невелика – и пусть себе знает. По крайней мере, сразу будет видно, если кто-то подозрительный начнет крутиться около...

– Так оно даже спокойнее, – сказал Енисеев, когда столичное начальство приняло такое решение. – Будут следить за фотографией и проворонят то, чего им и на ум не брело.

– Значит, и за мной будут следить.

– Естественно. Куда ж ты денешься! Но ты умнее, чем кажешься... То есть кажешься австриякам и, возможно, итальянцам!.. Да, на сей раз мы и с итальянцами имеем дело.

– Допустим, нужно собрать сведения о господине Н. и его на вид безупречной репутации, зная, что в прошлом были какие-то проказы, – продолжал Енисеев. – Дурак начнет с кухарки и горничной. Умный человек начнет с архивов рижской полиции... Не было ли какой сомнительной истории, в которой вроде как и нашли виновника, но осталось ощущение, будто не того?

– Я понял. Но тогда мне лучше бы съездить в Москву и посоветоваться с господином Кошко.

Аркадий Францевич Кошко был с 1900 года начальником Рижской сыскной полиции, и Лабрюйер принимал участие во многих его делах. Разумеется, всего он не знал – он начинал службу сперва рядовым агентом, потом поднялся до рядового инспектора, но Кошко все эти годы был образцом для подражания: не заседал в кабинете, а сам, переодевшись, с револьве-

ром и двумя-тремя подчиненными отправлялся брать матерого злодея. Но Лабрюйер всего-то восемь лет прослужил под командой Кошко. Накануне печальных событий 1905 года Аркадий Францевич по долгу службы расследовал несколько ограблений, которые отличались одной особенностью: добытые деньги предполагалось направить на организацию беспорядков. Кошко не любил революционеров, к какой бы партии они себя ни приписывали, не занимался «политическими» и не ладил с охранкой, но свое дело делал честно и налетов на рижские банки, совершенных с самыми светлыми намерениями, не прощал. Когда несколько налетчиков оказались за решеткой, он стал получать письма с угрозами. Но угрожали не ему лично, а его семье. Он написал рапорт начальству и в 1905 году был переведен в Санкт-Петербург – заместителем начальника Петербургской сыскной полиции. А в 1908 году ему поручили руководство всем московским сыском.

– Да, это возможно, – подумав, сказал Енисеев. – Насколько я знаю, у Аркадия Францевича отменная память. Но вот какая беда – он не захочет признаваться в ошибках и в следствии, не доведенном до блистательного конца. У него ведь тоже амбиции... Послушай, брат Аякс, поищи-ка ты лучше старых полицейских. Это будет актом милосердия. Вряд ли они, старики, живут в роскоши...

– Пусть так. И кто тот человек?

– Брат Аякс, только не бей меня по старой голове табуреткой! Я не знаю!

И Енисеев картинно съежился, прикрывая лысеющую голову руками.

Лабрюйер знал, что от этого человека можно ожидать любых сюрпризов. Действительно, возникло желание треснуть Аякса Саламинского здоровенным фотоувеличителем – он первый попался на глаза. Но Лабрюйер сдержался, промолчал и уставился на боевого товарища с ледяным любопытством – как на заморскую черепаху в зоологическом саду: нежности эта тварь не вызывает, а понаблюдать, как перемещается на нелепо расставленных лапах, можно.

Енисеев, удивленный тишиной, выглянул из-под руки, потом принял обычную позу человека, ведущего деловой разговор.

– Мы действительно не знаем, кто он. Вернее, даже так, – мы не знаем, кто это существо, поскольку речь может идти и о женщине. Наш приятель, которого мы знали как Красницкого, будучи толково допрошен, поведал вот что. Фрау Берта, которую теперь допросить может разве что сатанаил в преисподней, каким-то образом узнала нечто, порочащее человека, имеющего отношение к размещенным на рижских заводах заказам военного ведомства. У нее было множество поклонников, кто-то развлекал ее историями из рижской жизни. Красницкий утверждает, что подробности были известны мужу фрау Берты, которого мы знали как господина Штейнбаха. Но он утонул вместе с супругой, и, я надеюсь, вместе с ней кипит, в одном котле со смолой... Красницкий утверждал, что фрау Берта запрашивала Эвиденцбюро, нужно ли собирать сведения об этом человеке. Ответ ему неизвестен, коли не врет. Если бы фрау Берта и Штейнбах получили задание завести с ним знакомство, Красницкий бы об этом знал – да и мы бы знали, потому что разматывали этот клубочек и нашли причастных к делу людей. Но никого, близкого к заводам «Мотор» или «Феникс», среди знакомцев фрау Берты и Штейнбаха не обнаружено. И вот сейчас Эвиденцбюро начало разрабатывать эту загадочную персону.

– Из чего стало понятно, что персона уже сообщает секретные сведения?

– Из того, что они вдруг возникают в Вене и Берлине, в секретных докладах.

– Именно эта персона? Никто другой не мог?..

– Черт ее, персону, разберет. Это мерзавец, который либо засел на заводе, либо вертится вокруг «Мотора» и «Феникса», потому что очень уж много знает про военные заказы. Конечно, рано или поздно он себя выдаст. Но, брат Аякс, сам понимаешь...

Отвечать на обращение «брат Аякс» Лабрюйер не желал.

– Значит, того человека шантажируют, а он откупается сведениями? – уточнил Лабрюйер.

– Именно так.

– А если это не местный житель? Когда военное ведомство стало вкладывать деньги в рижские заводы, сюда приехали инженеры из столицы, из других российских городов. Может, кто-то из них?

– Я невысокого мнения о роде человеческом, – признался Енисеев. – На всяких уродах насмотрелся, сам понимаешь. Но мне кажется, что русский инженер в таком положении скорее уж сам пойдет в полицию признаваться. А немец – тот струсит... Тебе смешон мой патриотизм? Да? Ну, считай, что мне просто хочется так думать...

Енисеев помрачнел.

Из салона раздался такой визг, что Лабрюйер подскочил на стуле.

– Ничего страшного, дети опрокинули елку, – сказал Енисеев. – Случается. Иди, восстанови порядок, а я уберусь восвояси. У меня есть еще дела. Мы ведь, в сущности, все оговорили.

– Когда тебя ждать?

Лабрюйер редко говорил Енисееву «ты», старался обходиться без обращений, но сейчас само выскочило.

– Постараюсь завтра быть. А ты поторопись. Рождество – самое время, чтобы навестить полицейских старичков, подарки им отнести, что ли. Можешь – из тех сумм, что на непредвиденные расходы. Ну, я пошел.

Лабрюйер поспешил в салон – и точно, елка лежала на боку.

– Ты снимки уже сделал? – спросил Лабрюйер Хорь по-русски.

– Все сделано, душка, – томным голосом ответил Хорь.

Столичное начальство приказало ему еще какое-то время пребывать в образе полоумной эмансипэ-фотографессы Каролины, но обещало прислать замену. Он же, сильно недовольный, принялся валять дурака, наряжаясь и румянясь самым карикатурным образом. На сей раз Хорь украсил свою грудь огромным бантом – бледно-лиловым в черный горох.

– Позови госпожу Круминь, это все надо убрать.

– А кто заплатит за поломанные игрушки?

– Сейчас я разберусь...

Разумеется, папаша, респектабельный пятидесятилетний бюргер, утверждал, что елку плохо закрепили, оттого она и свалилась. Разумеется, мамаша, сорокалетняя скандальная дама, встала на его сторону. Платить семейство Краузе не желало – пока не пришла госпожа Круминь с метлой и совком.

– Не отдавайте им карточек, господин Лабрюйер, вот и все, – сказала супруга дворника. – Я их знаю, они тут неподалеку, на Романовской живут. Посторонитесь, господа, мне убирать надо! Отойдите, я тут подмету! Перейдите туда! Ребенка возьмите!

Подметала она лихо – так и норовила пройтись метлой по подолу длинной мамашинной юбки, по начищенным ботинкам папаши, да и детишкам перепало. Лабрюйер тем временем снял пиджак и поднял елку. Хорь, опустившись на корточки, подбирал уцелевшие игрушки. В сущности, пострадали только пряники, подвешенные на цветных ленточках, стеклянные шары и свечки. Набитые ватой ангелочки и паяцы, а также золоченые орехи и яблоки остались невредимы.

– Ущерба примерно на рубль, – сказал Хорь.

– Почему это мы им должны дарить рубль? – возмутилась госпожа Круминь и перешла на немецкий: – Если господин Краузе не заплатит рубль за убытки, весь квартал об этом узнает! Из-за одного рубля будет позор на сто рублей!

В том, что сердитая женщина с метлой способна ради великой цели обойти всех соседок и приятельниц, почтенное семейство ни секунды не сомневалось. И только папаша, выдавая рубль, проворчал, что эти латыши больно много воли взяли, давно их на баронскую конюшню не приглашали...

– Что? – спросила госпожа Круминь и поудобнее взяла метлу.

Спросила она по-латышски, но по-особому. В этом языке «о» выговаривалось скорее как «уо», и обычно это «у» проскальзывало не звуком, а скорее намеком на звук. Но если человек, спрашивая, отчетливо делил «уо» на «у» и «о», это означало сильное недовольство. Латышское «ко?», прозвучавшее как «ки-о?!», было угрожающим.

Семейство Краузе впопыхах оделось и отбыло, швырнув рубль на столик с альбомами.

– И это только начало дня, – философски заметил Лабрюйер.

Мелодичный звон дверного колокольчика сообщил о новых клиентах. Вошли две девушки в модных коротких, по колено, пальто с большими меховыми воротниками, в хороших меховых шапочках.

– Можно нам сняться на маленькие карточки? – спросила по-немецки одна, румяная блондинка.

– Да, прошу вас, разрешите вам помочь, – ответил Лабрюйер, и девушка позволила ему принять на руки скинутое ею пальто. Вторая, темненькая, подошла, с трудом протаскивая сквозь петли огромные меховые пуговицы, и вдруг рядом с ней оказался Хорь. Как чертик из шкатулки, которого стремительно выбрасывает пружина, он подскочил к хорошенькой брюнетке, явно желая помочь ей снять пальто, чтобы при этом самую чуточку приобнять.

– Фрейлен Каролина! – гаркнул Лабрюйер, угадав преступное намерение Хоря. Тот опомнился.

Хорь был молод, в силу ремесла обречен на временный целибат, и потому девичья красота волновала его безмерно. А подружки были действительно хороши, изящны, как фарфоровые статуэтки, и с удивительно гармоничными голосами: у брюнетки голос был пониже, бархатный, а у блондинки – как серебряный колокольчик. Когда они наперебой объясняли, какими должны быть фотокарточки, Лабрюйер просто наслаждался. Он-то знал толк в голосах и мог спорить, что девицы обучаются музыке не приличия ради, потому что девушка на выданье должна уметь оттарабанить на пианино хоть какой-нибудь полонез, а с далеко идущими намерениями.

Догадаться было несложно – девушки так восторженно рассуждали о случившейся на днях премьере «Евгения Онегина» в Рижском латышском обществе, так по косточкам разбирали исполнение молоденькой и неопытной Паулы Лицит, певшей партию Ольги, что Лабрюйер явственно видел: на меньшее, чем роль Виолетты в «Травиате», поставленной в знаменитом миланском театре «Ла Скала», красавицы не согласны.

Хорь предложил барышням занять место перед фоном номер семь, изготовленным нарочно ради Рождества и Нового года, с очаровательным зимним сюжетом: ночное небо с огромными звездами, черные силуэты елей, летящий ангелочек в длинном платье, дующий в трубу. Но капризные девицы потребовали иного фона – просто одноцветного.

Лабрюйер, чего греха таить, малость тосковавший о театральной суете, спросил, верно ли, что в новорожденной Латышской опере скоро премьера «Демона», и девушки, окончательно к нему расположившись, подтвердили это событие, предложили пойти туда вместе, а еще похвастались – через неделю они будут петь в домашнем концерте не где-нибудь, а у самого Генриха Пецольда – «Вы же его знаете, господин Лабрюйер, он в Рижском городском театре служит!»

– И что вы исполните, барышни?

– «Баркаролу»! – хором ответили девушки, и Лабрюйер невольно опустил взгляд, вспомнив «Баркаролу» Оффенбаха, так волновавшую его этим летом.

– Я хотела спеть каватину Розины, но Минни сказала: «Как тебе не стыдно, твой итальянский всех только насмешит», – продолжала брюнетка.

Лабрюйер уже знал, что обе они дружат с раннего детства, что обе – Вильгельмины, но одна – Минни, а другая выбрала себе имя Вилли.

– Нет, я так не сказала, я сказала – наш итальянский ни на что не похож, – возразила блондиночка Минни. – И нам нужно брать уроки, если мы чего-то хотим в жизни добиться!

Ты ничуть не хуже, чем Лина Кавальери, у тебя есть голос, а у нее только красота. Но она поет в парижской Гранд-Опера, а ты – нет, потому что она – итальянка, а ты всего лишь немка из Риги, и то...

– А я и не скрываю, что моя бабушка – латышка! И не хочу я корчить из себя немецкую примадонну. В «Латышской опере» поют по-латышски, и я...

– И ты так навсегда и останешься в «Латышской опере», если будешь петь только по-латышски!

Слушая спор, Лабрюйер усмехался в усы. Девушки мечтали о славе, это так естественно...

– Неужели в Риге нельзя брать уроки итальянского? – спросил он.

– Нам нужен настоящий итальянец, для которого этот язык родной, – ответила Вилли.

– Я боюсь, милые барышни, что если в Ригу и забредет настоящий итальянец, то он окажется обычным авантюристом и пройдохой. Вы уж мне поверьте! – очень убедительно сказал Лабрюйер. И тут в беседу вмешался Хорь.

– Вон там, через дорогу, гостиница «Франкфурт-на-Майне», – сказал он. – Я могу узнать – вдруг там останавливаются и итальянцы? Видите ли, барышни, иностранцы обычно стараются держаться за своих, и рижские итальянцы наверняка знают друг дружку.

– В гостиницу пойду я, – возразил Лабрюйер. – Вам, фрейлен, неприлично одной ходить в такие заведения.

Хорь так на него взглянул, что Лабрюйер понял: вот сейчас убьет и не поморщится. Нужно было исправлять положение.

– Вы, милые барышни, загляните ну хоть через неделю. Постараемся найти для вас итальянца, – сказал он.

Когда будущие звезды оперной сцены убежали, он, не желая объясняться с Хорем, надел пальто, шапку и вышел на Александровскую. Хоря он понимал – мальчишка, талантливый актер и разведчик, просто ошалел от близости двух красивых девиц. А вот себя он не понимал: отчего, напевая привязавшуюся «Баркаролу», он вспоминает Наташу Иртенскую, хотя должен был бы вспоминать ту, что эту «Баркаролу» пела, – Валентину Селецкую?

Валентина вылетела из головы, как птичка из опустылевшей клетки, и Лабрюйеру казалась жуткой мысль, что он готов был жениться на артистке. Подумать только, это было всего лишь летом...

Еще весной Лабрюйер был честным и скучным пьянчужкой Александром Гроссмайстером, бывшим полицейским инспектором. До Рождества он успел послужить артистом в труппе Кокшарова, получить там звучный псевдоним «Лабрюйер», исполнить роль Аякса Локридского в «Прекрасной Елене», прогреметь на весь рижский штранд пьяными подвигами, кинуться на выручку Валентине, несправедливо обвиненной в убийстве любовника, ввязаться в охоту на шпионов, спасти из большой беды авиаторов, испытывавших на Солитюдском аэродроме переделанный в аэроплан-разведчик «фарман», а потом от злости на Енисеева, недовольства собой и еще кучи разных сложных соображений наняться на службу в контрразведку и там окончательно стать Лабрюйером, да еще и Леопардом впридачу. А потом, гоняясь за австрийскими агентами, которым вынь да положь планы строящихся на Магнусхольме батарей, Лабрюйер обзавелся целым зверинцем: мало того, что сам – Леопард, так и присланная из столицы фотографесса Каролина – на самом деле агент Хорь, и Енисеев отчего-то – Горностай (похож он, долговязый, с прокуренными усами, на милого зверька не более, чем коренастый, даже тяжеловатый Лабрюйер – на леопарда), и еще два зверя приняли участие в стычках и погонях: Барсук и Росомаха.

Вся эта компания сейчас находилась в Риге, а чем занималась – Лабрюйер не знал: мудрое начальство решило, что нужно дать ему одно конкретное задание – и пусть трудится, а общую картину событий пусть держат в голове Енисеев и Хорь.

Да, еще летом он был сильно увлечен Валентиной. Но сейчас звучащая в душе «Баркарола» была о совсем иной любви. Как она перескочила с Валентины на Наташу Иртенскую? Уму непостижимо!

Наташа, которую спешно увезли вместе с маленьким сыном в Москву, успела только записочку ему передать, а в записочке – три буквы, РСТ, что означает «рцы слово твердо». Этим она сообщала: я за свои слова, сказанные в ночном лесу, в ответе, я правду сказала, а правда эта такая, что и поверить страшно: «я тебя люблю». Записочка хранилась дома, а больше ничего от Иртенской и не было, пропала... забыла?..

Печально, если так.

Недалеко от Матвеевского рынка была хорошая кондитерская. Лабрюйер зашел, заказал кофе со сливками, кусок яблочного пирога, присыпанного по-особому приготовленным миндалем, и сел у окна – смотреть на прохожих. Естественно, зазевался. И вдруг обнаружил, что недоеденного пирога на тарелочке больше нет, зато женщина, убиравшая со столов посуду, кричит не своим голосом:

– А ну, пошел вон! Пошел вон, пьянчужка! Всю почтенную публику распугаешь!

Но она не только кричала – она еще и была мокрой тряпкой по спине маленького человечка в преогромном, неведомо с чьего плеча, пиджаке. Человечек, прихрамывая, стремился к двери.

Лабрюйер сообразил, что произошло, и кинулся в погоню. Естественно, он не стал бы есть пирог, побывавший в немытых руках. Но человечек показался ему знакомым, и неудивительно – за годы полицейской службы Лабрюйер на всякое ворье насмотрелся.

Нагнать его и схватить за шиворот оказалось совсем нетрудно.

– Ты у кого апфелькухен стащил, подлец? – спросил Лабрюйер. – Совсем ослеп, что ли?

– Господин Гроссмайстер?!

– Ну и что мне теперь с тобой делать?

«Тяжко быть старым воришкой, – подумал Лабрюйер, – весьма тяжело. Никому ты не нужен, никто тебя не приютит и не покормит, а украсть такой кошелек, чтобы на неделю жизни хватило, ты уже не в состоянии...»

– Отпустите меня, герр Гроссмайстер! – по-латышски взмолился воришка.

– Отпущу – а ты опять пойдешь по кондитерским промыслам? А, Ротман? Лет-то тебе сколько? О душе пора подумать, а не о апфелькухенах. Пошли. Пошли, говорю! Не за шиворот же тебя тащить.

Лабрюйер повел Ротмана на Матвеевский рынок. Там в углу было заведение, где подавали дешевую жареную кровяную колбасу. Он взял воришке круг колбасы, ломоть черного хлеба и кружку пойла, которое здесь называлось «кофе», хотя варилось в кастрюле из цикория и бог весть каких еще элементов.

– Ешь, несчастный. Пользуйся моей добротой по случаю Рождества.

Ротман, все это время молчавший, поднял глаза и уставился на Лабрюйера.

– Вот ведь как подшутил милый Боженька... Пока был молод – в лучших корчмах своих угощал и свои меня угощали, а теперь – легавый мне колбаски купил...

– Сколько раз я тебя ловил, Ротман? И ты тогда уже не был молоденьким. Сейчас тебе за шестьдесят? Тогда, значит, за сорок было. Вытаскивай из кармана апфелькухен, ешь. Ты бы хоть сторожем куда нанялся, что ли...

– Кто меня возьмет в сторожа?

– А ногу где повредил?

– Убегал, под телегу свалился. И – хрясь...

– Ни жены, ни детей?

– Откуда?..

– Думал, всегда будешь молодым добытчиком?

– Лучше бы я тогда под лед ушел...

Это была давняя история – полицейские агенты чуть ли не в самый ледоход гнали по Двине, напротив краснокирпичных складов Московского форштадта, шайку, удиравшую с добычей. Добычу ворам пришлось бросить, двое попались, трое все же убежали.

– Да, лучше бы ты тогда ушел под лед, – согласился Лабрюйер. Ротман не имел ни ремесла, ни родни, ни имущества, впереди его ждала смерть под забором. Вот разве что натворит таких дел, чтобы посадили за решетку, да куда ему – он теперь слабосильный...

– Да...

– И что, совсем не к кому прибиться? Совсем никого нет?

– Племянник есть. Но его в Сибирь укатали. А без вины, совсем без вины! Там и пропадет! – воскликнул Ротман. – Может, уже и пропал...

Лабрюйер насторожился.

– Как это – совсем без вины? Так не бывает!

– За деньги все бывает, господин Гроссмайстер! Заплатили свидетелям, и – крышка моему Фрицу! А у нас – откуда деньги? Все, все подстроили! И Фрица в Сибирь погнали!

– Давно это было?

– Шесть лет назад, герр Гроссмайстер, шесть лет. Я думал, при нем жизнь доживать буду. Он меня жалел...

– Он из вашего воровского сословия?

– Не совсем. Так, помогал иногда, надежный был, умел молчать... Сын моего братца, герр Гроссмайстер... покойного брата сын... а свидетелям заплатили!..

– Рассказывай.

– Да это все из-за бунтовщиков...

– Из тебя каждое слово клещами нужно тянуть? – рассердился Лабрюйер.

– Да все равно – без толку...

– Рассказывай.

– Что – рассказывай?..

– Про племянника.

– Все равно ему уже ничем не поможешь. Сгинул в Сибири...

Такой увлекательный разговор продолжался еще с четверть часа и порядком надоел Лабрюйеру.

– Ну, вот что, Ротман. Надумаешь рассказать правду – ищи меня в фотографическом заведении напротив «Франкфурта-на-Майне», на Александровской, знаешь?

– Знаю.

– А сейчас мне жаль время на тебя тратить. Уговариваю тебя, как солдат девку. Будь здоров.

С тем Лабрюйер и ушел с Матвеевского рынка.

По его мнению, Ротману было нечего рассказать – про племянника сбrehнул, чтобы пожаловить доброго господина Гроссмайстера. И все это оказалось обычной рождественской благотворительностью – кто-то вон в богадельню корзину калачей везет, а бывший полицейский инспектор Гроссмайстер бывшего вора обедом покормил, авось когда-нибудь на небесах зачтется.

Теперь следовало подумать о задании Енисеева. Он был прав – что-то могут знать бывшие полицейские. Но и неправ одновременно – вряд ли бы при Кошко отправили на скамью подсудимых заведомо невиновного человека. Скорее всего, это случилось уже после того, как Кошко переехал в Санкт-Петербург. После его отъезда в Риге и окрестностях были такие беспорядки, что полиция их еще долго расхлебывала. 1905 год – беда всей империи...

Начать Лабрюйер решил с давнего приятеля – Ивана Панкратова, который был теперь многим известен как Кузьмич. Этот агент был надежным помощником Аркадия Францевича

и продержался в сыскной полиции чуть ли не до пятидесяти лет, потом решил, что хватит с него безумных приключений, и нанялся в гостиницу «Петербург», что на Замковой площади, – смотреть за порядком. Потом он неожиданно получил наследство от тетки, которую давно уже считал покойницей, а она чуть ли не до девяноста прожила. Деньги он не пропил, а приобрел несколько квартир в доме на Конюшенной улице и стал содержателем меблированных комнат – на старости лет очень подходящее занятие.

Встал вопрос: чем поздравить старика с Рождеством? Не конфеты же ему дарить. Он, конечно, старик крепкий и выпить не дурак, но бутылка шнапса – не очень-то рождественский подарок.

Лабрюйер пошел советоваться к госпоже Круминь, а она предложила испечь луковый пирог с беконом. С этим пирогом, уложенным на изготовленную из плотного картона тарелку и увязанным в большую салфетку, Лабрюйер и отправился по Александровской в ту часть города, которую называли Старой Ригой. Прогулка была приятной, а предвкушение пирога со стаканчиком шнапса грело душу.

Кузьмич был занят делом – выдвора из комнаты на третьем этаже жильца, не заплатившего за три месяца.

Жилец был еще молод, но уже плешив, жалок на вид, имущества у него набралось – всего-то два чемодана, большой и маленький. Но он хорохорился:

– Вы еще об этом пожалеете! Вы еще гордиться будете, что такой человек, как я, изволил в вашем свинарнике проживать!

– Какой такой человек? – заинтересовался Лабрюйер.

– Вам не понять!

– И все же?

– Я изобрел!.. Нет, все равно не поймете!

– Вечный двигатель, – подсказал Лабрюйер.

– По-вашему, я похож на сумасшедшего? Когда мое изобретение будет признано, о!.. О, тогда!..

Станный жилец схватил со стола какие-то исчерканные карандашом и чернилами бумажки.

– О, тогда! – повторил он. – Вам станет стыдно, ничтожные людишки! Я – Собаньский, а вы кто?

– Побудьте с ним, Александр Иванович, а я за орманом схожу, – мрачно попросил Панкратов. – Гривенник заплачу, чтобы куда-нибудь этого пана увез подальше. Одно разорение с этими чудаками из захолустья.

– Вам станет стыдно! Я опередил прогресс! А вы кто? – спросил пан Собаньский, но Панкратов не ответил – он уже вышел из комнатенки.

– Откуда вы? – спросил Лабрюйер.

– Из Люцина, – признался изобретатель. – А отчего вы спрашиваете? Вы хотите украсть мое изобретение?

– Не говорите глупостей.

Большое сомнение вызвала у Лабрюйера фамилия «Собаньский». Чудак не очень-то был похож на поляка, не тот имел выговор – или перенял еврейское произношение, ведь Люцин, если вдуматься, – еврейское местечко.

Изобретатель, глядя на Лабрюйера с большим подозрением, собрал свои драгоценные бумажки в стопку, поместил в старую зеленую папку, а папку – в чемоданчик.

Панкратову повезло – ормана он изловил возле реформатской церкви и сам вынес на улицу большой чемодан. Пан Собаньский, не прощаясь и высоко задрав нос, вышел из комнаты, а через минуту вернулся Панкратов.

– Я сговорился – его к Александровскому мосту отвезут, а дальше – как знает. Идем ко мне, вниз.

– Раздувай самовар, Кузьмич, заедим твое горе вкуснейшим пирогом.

– Вот дурень...

– Кто?

– Да этот мой чудак. Вон, чертеж забыл.

В спешке пан Собаньский уронил лист плотной бумаги, и тот залетел под кровать. Панкратов поднял и уставился на чертеж, как баран на новые ворота:

– Батюшки мои, это что за чудо?!

И впрямь, бывший жилец старательно изобразил сущее чудо – корпус, как у лодки, два крыла, как у самолета-биплана, но впридачу два гребных колеса, как у тех пароходиков, что бегают по Двине. И, для полноты картины, на носу странного судна четырехлопастный винт.

– Все ясно, непризнанный механический гений, – сказал Лабрюйер. – Жаль времени, потраченного на это художество. Может, еще вернется. Так ты вздуваешь самовар, Кузьмич?

Четверть часа спустя они сидели за столом визави и ели ароматный пирог, прихлебывая из фаянсовых кружек горячий чай.

– Я к тебе с таким вопросом, Кузьмич, что даже и не знаю, как приступить, – сказал Лабрюйер. – Ты в полиции целую вечность, начинал мальчишкой-рассыльным, так?

– Так. Еще при покойном государе Александре Николаиче, царствие ему небесное.

– Во всяких переделках побывал...

– Так, так, побывал...

– Всякое ворье и жулье ловил...

– Ох, всякое... А нельзя ли прямо?

– Прямо? Ну, ладно, попытаюсь. Не было ли такого, Кузьмич, что вроде и за руку вора схватили, и каторга ему грозит, а потом вдруг – р-раз! И судят за его безобразия совсем другого человека? Или же – распутывали какое-то дело, а дело от рижских сыщиков вдруг забрали в Петербург или в Москву, хотя только и оставалось, что подлеца в тюрьму препроводить?

– А на что вам, господин Гроссмайстер?

– А вот на что – ведь человека, который в свое время кары избежал, могут потом шантажировать.

– И очень даже просто... Было дельце, было – но я тогда уже из сыскной полиции ушел, а лишь подрабатывал по внешнему наблюдению иногда... Это надо Лемана спрашивать, Петера Лемана. Я его недавно встречал, недавно... батюшки, на Пасху, ничего себе недавно...

– Кузьмич, а ведь и я его недавно встречал! Нет, не на Пасху, летом...

– Без Гаврилы не обойтись!

Гаврила служил одно время в филерах, раза три уходил из полиции и опять возвращался, а завершил свою карьеру в должности церковного сторожа. Но до него еще поди доберись – он поселился на штранде, в Дуббельне, при Владимирском храме, а кто зимой станет ездить на штранд? Поезда вряд ли ходят, разве что ормана нанять?

Но Гаврила был напарником Лемана и мог знать его адрес.

Решили совершить вылазку на штранд с утра – мало удовольствия странствовать в потемках.

Вернувшись в свое фотографическое заведение, Лабрюйер обнаружил там наблюдательный отряд почти в полном составе – Горностая, Барсука, Росомаху и Хоря.

– Садись, Леопард, – сказал Барсук. – Мы тут насчет итальянцев совещаемся.

Лабрюйер посмотрел на Хоря.

– Что, затеяли всем отрядом брать уроки бельканте? – спросил он.

– Ты обещал двум хорошеньким барышням поискать для них живого итальянца, чтобы поучил их произношению, – напомнил Горностай-Енисеев. – Как это ни смешно, а поиски

итальянца для нас очень важны. И девицы со своими глупостями пришлись очень кстати. Тебе нужно подружиться с ними Леопард. Даже поухаживать за ними... Хорь, не сопи! Скоро тебе на смену пришлют человека, тогда Росомаха уедет, а ты будешь за него. В своем изначальном образе, как тебя Бог создал, в штанах и даже с усами, если успеешь отрастить.

– На что нам итальянец? – прямо задал вопрос Лабрюйер.

– Пришло сообщение. Как будто нам мало Эвиденцбюро – есть подозрение, что в Риге вертится вокруг заводов еще и итальянский агент. Недостает лишь эскимосов и папуасов... – ответил Енисеев. – Вот, ломаем головы, как до него добраться.

– Никак, если он хорошо говорит по-немецки, – сразу отрубил Лабрюйер. – Он же не станет валяться на скамейках в парке, как натуральный лаццарони, исполняя баркаролы и канцонетты. Скорее всего, если при нем заговорят по-итальянски, он сделает вид, будто ни слова не понимает.

– Или же, наоборот, изобразит нам классического итальянца с черными усами и склонностью к изящным искусствам.

– Есть и третья возможность, – вмешался Барсук. – Итальянцы наняли человека, не похожего на брюнета с черными усами. Допустим, белобрысого шведа или голландца.

– Шведку или голландку, – добавил Росомаха. – Опять у нас русская народная сказка: поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что.

– Завтра я искать итальянца не стану, потому что с утра уезжаю в Дуббельн, – предупредил Лабрюйер. – Кажись, напал на след...

– Чей?

– Человека, который избежал скамьи подсудимых, хотя должен был бы на ней сидеть. Ведь именно это от меня требовалось?

По физиономии Енисеева Лабрюйер видел, что возможна стычка, и решил не уступать. Тем более, что на него смотрят Хорь, Барсук и Росомаха.

Енисееву явно хотелось отправить Лабрюйера по следу воображаемого итальянца, но и он видел, что Леопард готов сопротивляться. Поскольку наблюдательный отряд формально возглавлял Хорь, Енисеев не стал спорить и навязывать свое мнение.

– Барсук, ты с утра пораньше найди Мартина, чтобы Леопард на нем поехал, – сказал он.

Орман Мартин Скуя раза два или три возил Енисеева, получил хорошие чаевые, и они ладили. Это был здоровенный детина, по сведениям – большой драчун, так что при необходимости мог и защитить Лабрюйера. Экипаж у него был новый, на резиновых шинах, с крытым верхом, с ковровой полстью – укрывать ноги седокам, для запряжки он держал двух лошадей, сильного выносливого мерина и довольно резвую кобылу.

– Будет сделано, – ответил Барсук.

Глава вторая

Зима на штранде – время тишины и пустоты. Немногие местные жители ходят по воскресеньям в церкви, а во Владимирской их можно было бы сосчитать на пальцах одной руки. Два раза в месяц приезжает батюшка с причтом, служит, исповедует и причащает. Тем важнее содержать сторожа – слишком велик соблазн утащить из пустого храма серебряную богослужебную утварь.

Гаврила жил в сторожке, устроившись там, как в раю: он с осени припасал дрова и шишки для растопки – целыми мешками. Уж чего-чего, а шишек на штранде хватало. На дворе, во избежание пожара, стояли бидоны с керосином, необходимым для лампы. Раз в неделю Гаврила брал санки и шел к соседям-рыбакам, оттуда привозил ковригу хлеба, молоко и масло, копченую рыбу, а чай, мед, сало, крупы и картошку запасал сам. Гаврила был грамотен, покупал у домовладельцев за гроши оставленные дачниками книги и газеты, читал их в полное свое удовольствие – прихлебывая горячий чаек, закусывая ломтем хлеба с салом.

Дорога от «Рижской фотографии господина Лабрюйера» до Владимирского храма в Дуббельне – немногим более двадцати верст, и Лабрюйер вместо элегантного пальто, в котором только на Александровской щеголять, надел тулуп, одолженный у дворника Круминя, и обул валенки. Панкратов, приглашенный на эту прогулку, тоже был в тулупе и валенках. Чуть ли не три часа по морозцу ехать – это учитывать надо!

Конечно, можно было и автомобиль нанять. Но поездка на бричке зимой – это особая радость, это наслаждение красотой пейзажа, чего автомобиль не позволяет.

Лабрюйер и Панкратов обнаружили Гаврилу возле сарая – он колот дрова и был очень этим занятием доволен. А еще больше был доволен давними знакомцами, которые привезли угощение – двухфунтовую сахарную голову в синей бумаге и круг колбасы.

– Где живет Петер Леман, я знаю, – сказал Гаврила. – Он при дочке, внуков нянчит. После той истории... Да ты ж помнишь, Кузьмич! Ему дали понять: не заткнешь свою поганую пасть, тебя не тронем, а доченьке и внукам достанется...

– Так что за история? – нетерпеливо спросил Лабрюйер.

Гаврила замялся.

– Говори уж, раз начал! – прикрикнул на него Панкратов.

– Пусть он сам расскажет, если захочет.

– А где его искать?

– Я же говорю – при дочке состоит. Доченька хорошо вышла замуж, совсем молоденькая была, а хватило ума – не за голодранца, а за почтенного человека. У него уже внуки были, когда он в эту историю ввязался. Потом подал в отставку, все связи с полицией не то что оборвал, а как топором обрубил.

– Искать-то где?

– В Агенсберге. Так на углу Капсюльной и Голубейной, поди. Там люди подолгу живут, все своих соседей знают. Место тихое, там у дочки с мужем свой дом, сами живут и квартиры сдают. Ну, и он там скучает...

– Скучает? – удивился Лабрюйер.

– Так он же молодой совсем, ему и шестидесяти нет! – ответил семидесятилетний Гаврила. – Ему бы делом заниматься, а не внукам носы утирать. Я ему говорил – ты хоть в сторожа наймись, что ли, на людях будешь. Нет – не хочет, от всех спрятался. Стыдно ему, вот что.

Напившись у Гаврилы чаю, Панкратов запросился домой, но Лабрюйеру взбрело в голову выйти на пляж, подышать морским воздухом.

Дачный поселок Дуббелън стоял на узком перешейке между берегом залива и петлей, которую делала река, Курляндская Аа, по дороге к морю. От бело-голубой церкви до пляжа было с полверсты.

Он прошел эти полверсты пешком, взрывая снег валенками и полами тулупа. Он поднялся на невысокую дюну и увидел замерзший залив – огромное пустое пространство. Между ровным белым пляжем и ровным сероватым заливом вдоль берега шла полоса кривых ледяных глыб. И – все. И – долгожданная тишина. Ни одной живой души – только лед, снег, сосны и Лабрюйер.

Это было необходимо – чтобы привести в порядок мысли. Им следовало прекратить суету и течь неспешно, правильно, чтобы одно вытекало из другого, а не прыгало поперек другого.

Следовало понять: то, что привязывает его к Наташе Иртенской, – любовь? Или он вляпался в увлечение, вроде летнего интереса к Валентине Селецкой?

Валентина была просто женщина, чья молодость на исходе, женщина-артистка, которой уже необходимо надежное мужское плечо. Можно держать пари на тысячу рублей, что она, уехав из Риги, вскоре совершила еще одну попытку – и еще один мужчина показался ей сильным и надежным.

Ну и Бог ей в помощь...

А Наташа – женщина, которой владеют сильные чувства. И она ошибается, но не так, как Валентина. Валентина ничего не сделает сгоряча. А Наташа сгоряча объяснилась в любви человеку, которого совершенно не знает. Что это такое было?..

Он вспомнил их последнюю встречу на Магнусхольме. Она была уверена, что погибнет в эту ночь, и, Господи, чего она тогда наговорила!..

А он ведь поверил. И ждал от нее хоть весточки. А весточки все не было, только Енисеев как-то обмолвился, что госпожа Иртенская с сыном в Подмоскowie. Надо было спросить о ней, но Лабрюйер не мог, он бы не выдержал ехидного енисеевского прищура, с него бы стало с разворота в ухо заехать.

Так что ждать приветов и поклонов от госпожи Иртенской, похоже, не стоит. Следует успокоиться. Чтобы пейзаж души был, как этот зимний пейзаж, что перед глазами: застывшее море до горизонта, ледяной простор, серое небо, белый снег...

Он повернулся и пошел прочь от чересчур холодного пейзажа.

Оказалось, Панкратов и Мартин Скуя ждут неподалеку.

– Едем в Агенсберг, – сказал Лабрюйер. – Будем искать Лемана.

Дом, где бывший полицейский агент Петер Леман нянчил внуков, был почтенным каменным трехэтажным зданием, что в Задвинье пока было редкостью. Строились, конечно, дома на новый лад, шестиэтажные и украшенные лепниной, но – ближе к реке и мосту, ближе к крытому рынку. На Капсьюльной улице пока что стояли деревянные двухэтажные домишки.

Этот дом, судя по всему, имел два выхода – на улицу и во двор. Панкратов остался караулить парадное крыльцо, а Лабрюйер распахнул калитку.

Во дворе сидел сторож – большой черный пес, привязанный к будке длинной веревкой. Он яростно облаял незваных гостей. Лабрюйер остановился у калитки, ожидая, пока на лай выглянет кто-то из хозяев.

Из дверей черного хода появился мальчишка лет двенадцати, в ученической шинельке и фуражке.

– Уходите, это частное владение! – крикнул он, не распознав под тулупом и меховой шапкой человека, с которым стоит обращаться повежливее.

– Скажи деду, что пришел господин Гроссмайстер, – ответил Лабрюйер.

– Деда нет дома.

– Он дома, но не хочет принимать гостей. Скажи ему – пусть немедленно выйдет! – перекивая пса, заорал Лабрюйер.

Мальчишка скрылся.

Несколько минут спустя на пороге появился сильно постаревший Леман. Первой приметой старости были довольно длинные волосы – жидкие седые пряди вдоль щек. Мужчина, отравивший такое, словно расписывался в своем бессилии и нежелании жить, он полностью принадлежал своей старости и смирился с этим. Затем – седая щетина на щеках и усы, также седые, потерявшие всякий пристойный вид. А ведь Лабрюйер помнил Лемана щеголеватым моложавым мужчиной в котелке и модных ботинках, с изящными, красиво подкрученными усиками.

– Тихо, Кранцис! Господин Гроссмайстер, я давно отошел от дел, я даже разовых поручений не выполняю. Я хочу тихо дожить те годы, что мне еще отпущены Всевышним, – сказал бывший агент.

– Леман, мне нужен всего лишь ваш совет.

– Я больше не даю никаких советов.

– Всего несколько слов. По одному давнему делу, восьмилетней давности. Дело было сомнительное, вы его сразу вспомните.

– Оставьте меня в покое, господин Гроссмайстер.

Тут Лабрюйер наконец понял, в чем его ошибка.

– Леман, я больше не служу в полиции! И не собираюсь туда возвращаться. Я ищу вас по частному поручению. В полиции никто не узнает, что мы встречались и разговаривали. Поклянусь чем хотите!

Старый агент спустился на две ступеньки. Лабрюйер удивился было – как же быстро Леман нажил горб. Потом вспомнил – такую сутулость он всегда хорошо изображал, когда переодевался для выполнения задания.

– Леман, вы же помните, почему я ушел из сыскной полиции. И вы прекрасно знаете, что я пил, как сапожник... как целый батальон сапожников! С полицией у меня теперь ничего общего. Я нашел вас, потому что вы можете помочь, и я вам заплачу. Нужны подробности, которых, кроме вас...

– Господин Гроссмайстер, я никаких советов давать не буду. И я очень вас прошу... прошу, понимаете? Забудьте сюда дорогу! Вас не должны тут видеть! Вы хороший человек, господин Гроссмайстер, но не приходите больше!

– Хорошо, Леман, я больше не приду. Прощайте.

С тем Лабрюйер и отступил за калитку.

Разговор получился странный, ясно было одно – Леман здорово напуган. А вот чем напуган – это вопрос... Той ли давней историей, о которой говорили Панкратов и Гаврила?

Лабрюйер полез в бричку, где ждал его Панкратов.

– Вот что, Кузьмич. Леман совсем человеческий вид потерял, разговаривать не захотел. Давай выкладывай, что ты знаешь о той истории.

– Да мало что знаю. Там, видно, какие-то большие господа были замешаны. Вы, Александр Иванович, помните, как в Московском форштадте, у пристани, под причалом, подняли тело девчонки?

– Вроде нет... Наверно, я тогда уже ушел из полиции.

– Девчоночка, лет тринадцати, в чем мать родила... Горло перерезано... Вспомнить – жуть берет. По розыску вышло, что девчонка рано в б...дское ремесло пошла. Откуда взялась – непонятно, опознала ее одна проститутка, и она же подсказала, где девчоночка по вечерам околачивалась. Имя назвала, сказала – вроде то ли из Режицы, то ли из Люцина, в общем, из тех краев, сбежала из дому. А кому и для чего понадобилось ее убивать – непонятно. Несколько матросиков к делу притянули, сторожей, что при спикерах состоят...

Спикерами Панкратов на рижский лад называл большие кирпичные амбары на двинском берегу.

– И без толку?

– Грузчика одного обвинили. На суде как-то все так связно получилось, что грузчика упекли...

– По свидетельству проститутки?

– А что она, не человек, что ли? Трезвая пришла, чистенькая, говорила толково, чего ж ей не поверить? А Леман как раз и не поверил. У него две внучки уже были, старшенькая – ненамного моложе, он над внучками трясся прямо.

– Когда ж он женился?

– Совсем смолоду женился, и не на девке, а на брюхе, – усмехнулся Панкратов. – Успел, потрудились! Дочку они родили. Ту, что потом хорошо замуж вышла, дома вот этого хозяйку.

– Поехали! Я завезу тебя, Кузьмич, на Конюшенную, а ты мне по дороге все расскажешь.

Зимой двинский лед был весь исчерчен колеями, иная дорога наискосок, от Ильгюциема до Московского форштадта, была даже елочками для красоты обтыкана. Пока пересекали реку, Панкратов рассказал про другое дело – от первого оно отличалось тем, что тело нашли на чердаке заброшенного дома весной, а сколько оно там пролежало – неизвестно, так что – и концы в воду, и судить некого.

– Московский форштадт? – уточнил Лабрюйер.

– Где ж еще... Вечно там всякие безобразия, вы же помните. А вот третье дело... Да вы непременно про него в газетах читали.

– Точно! – воскликнул Лабрюйер.

– Вот в третьем наш Леман, кажется, и того... отступил...

История была похожая – убитая девочка, тело поднято на Кипенгольме, на Лоцманской улице, в кустах за чьим-то огородом. Девочка непростая, приехала в Ригу с гувернанткой, погостить у родственников, и пропала. И в Москве у нее родня, да еще какая! Леман, еще когда девочка пропала, взял след, и на сей раз не случилось проститутки, которая трезвой пришла в полицию и наговорила на девочку всякого. Зато пропала гувернантка. И дальше было непонятное...

Вроде бы Леман где-то отыскал эту гувернантку, но куда она после того девалась – неизвестно. Вроде бы чуть ли не за руку схватил человека, который собрался эту гувернантку убивать. С Леманом был напарник, молодой агент Митин, так тот – погиб, и о его смерти Леман рассказал подозрительно кратко: – вот только что был жив, отошел за угол, и потом – лежит за углом с перерезанным горлом...

– Что его запугали, понятно. И что он знает, кто убийца, тоже понятно, – сказал Лабрюйер. – И что молчанием платит за жизнь внуков, понятно. И что убийца имеет возможность в любую минуту стремительно напасть и убить детишек, – понятно... А осудили, помнится, какого-то студентушку. Его рыбаки ночью видели неподалеку от места, где подняли тело.

– Да, адвокат еще доказывал, что парень не в своем уме. С ним особо и не спорили – спятил так спятил, главное – пойман и осужден. Так-то, господин Гроссмайстер. И Леман показал на того студента и чуть ли не на следующий день ушел из полиции. Но мы все тогда Леману поверили – опознал парнишку, какие могут быть разговоры? А потом стал я думать, думал, думал... И так, и сяк это дело вертел в голове. Гувернантку-то ведь не нашли, жива или нет – непонятно. И на суде как-то так обошли это дело с гувернанткой... Зря мы к Гавриле ездили! Если Леман не хочет говорить – и не заговорит.

– Сам вижу.

Лабрюйер замолчал. У него в голове начал выстраиваться план действий.

– Убийца-то, значит, еще в Риге... – пробормотал он.

Панкратов покивал.

Мартин Скуя волей-неволей слышал этот разговор.

– Если господа позволят сказать... – осторожно начал он.
– Говори, братец, – разрешил Лабрюйер.
– У меня тут поблизости теща живет. Наверняка все про соседей знает.
– А ты с тещей ладишь? – спросил сообразительный Панкратов.
– Когда как. Но могу к ней заехать ради праздника, взять жену, детей – и в гости.
– Это ты хорошо придумал.
– Теще подарок надо бы, давно она от нас ничего не видала...
– Намек понял, – ответил ему Лабрюйер. – Держи полтинник. Купи ей два фунтовых творожных штолена с цукатами...

Это лакомство недавно принес в фотографическое заведение Хорь, и оно всем понравилось. Как и большинство немецкого рождественского печева, оно могло храниться долго, хоть до Пасхи.

В «Рижской фотографии господина Лабрюйера» опять было шумно – дворник Круминь вколачивал в стенку гвозди для хитрой конструкции с кронштейном, собственного изобретения, которой следовало удерживать от падения елку, а Хорь, стоя рядом, давал смехотворные советы, от которых Ян и Пича чуть за животы от хохота не хватались.

Ян, красивый восемнадцатилетний парень, с утра бегал, разнося заказанные карточки, а теперь, переодевшись в приличный костюм, был готов обслуживать клиентов. Костюм ему купили в складчину – десять рублей дали родители, другие десять – Лабрюйер в счет будущих заслуг. Кроме того, Ян начал отращивать усы, и Енисеев, чьи великолепные усищи, неслыханной густоты, у многих вызывали зависть, подарил ему особую щеточку для расчесывания и укладки, а также усатин под названием «Перу», реклама обещала, что за три недели на пустом месте от этого усатина вырастет целый лес. Это был царский подарок – флакон стоил целых полтора рубля. Но Енисеева, видимо, развлекала суeta вокруг Яновой растительности на физиономии.

Пича все собирался залить во флакончик усатина чего-нибудь неподходящего, но госпожа Круминь, догадавшись о такой диверсии, заранее пригрозила своему младшенькому розгами.

Сама она сидела за столиком, как важная дама, в новой юбке и новом жакете, и изучала альбомы с фотографиями, критикуя неудачные прически и умиляясь мордочкам детишек.

Словом, в фотографическом заведении царил патриархальный рай, можно сказать – истинно немецкий рай, в котором все улыбчивы и доброжелательны, в меру сентиментальны и деловиты.

К Лабрюйеру поспешили навстречу, освободили его от тулупа и шапки, а валенки он снял уже во внутренних помещениях заведения. Там он обнаружил Енисеева с Барсуком, которые только что явились, но вошли не через салон, а с черного хода.

– Не знаю, тот ли след я взял, но на что-то подходящее наткнулся, – сказал Лабрюйер. – Кончится это тем, что я раскрою кучу давно позабытых дел, но нужного человека так и не найду.

– Найдешь, – твердо ответил Енисеев. – Я тебя знаю. Ты только с виду такой праведный бюргер. А когда припечет, хватка у тебя леопардовая.

– Может, обойдемся без комплиментов? – почуяв в голосе боевого товарища неистребимое ехидство, спросил Лабрюйер.

– Но ты пробуй и другие варианты. Нам нужен человек, который вертится вокруг «Феникса», «Мотора» или даже резиновой фабрики братьев Фрейзингер. Да, брат Аякс, шины для велосипедов и автомобилей – тоже такой товар, что армии требуется.

На следующий день Лабрюйер пешком, для моциона, отправился в Московский форштадт. Это был именно моцион, без размышлений о маршруте: Лабрюйер вышел на Мельничную улицу и прошагал целых две версты, все прямо да прямо, и вот ноги сами принесли его

к тому месту, где в Мельничную упиралась Смоленская улица, не так давно названная Пушкинской. Новое название пока не прижилось – мало кто из форштадских жителей знал, какой такой Пушкин, а город Смоленск был всем известен.

На углу рядом с постовой будкой стояла скамейка. При виде этой скамейки всякий первым делом подумал бы о слоне, которого она должна выдержать. Но скамейку городские власти (видимо, по предложению покойного градоначальника Армитстеда, любившего интересные затеи) поставили для одного-единственного человека. Это был будочник Андрей, настоящий великан с пудовыми кулачищами. Служить он начал в незапамятные времена, а теперь делался не просто огромен, но еще и толст.

Андрея все звали именно так – вряд ли кто из форштадских береговых рабочих, складских грузчиков и жулья знал его фамилию, но вот с кулаками познакомились многие. Если вдруг посреди недели затевалась драка (субботние и воскресные драки были чуть ли не узаконенным развлечением здешних мастеровых), бабы тут же принимались вопить: «Бегите за Андреем!» Его находили на скамье, откуда он созерцал реку, он преспокойно шествовал к тому кабаку, у дверей которого безобразничали, и раскидывал драчунов, как щенят. А в субботу и воскресенье он сам шел в места, которые считал подозрительными и многообещающими.

Этот-то ветеран и был нужен Лабрюйеру.

. – Я с вопросами пришел, об одном давнем деле, – сказал он. – Ты ведь помнишь, как под причалом нашли убитую девочку, с перерезанным горлом?

– Как не помнить... Беленькая такая, косы длинные...

– И одна проститутка заявила, что девочка тем же ремеслом промышляла, просто рано созрела. Что по вечерам они чуть ли не вместе ходили, знакомились с матросами, со струговщиками.

– Да-а... – протянул Андрей. – Была такая Грунька-проньера, помню. Была...

– А куда подевалась?

– А куда они все деваются? – философски спросил Андрей. – Подцепила французскую хворобу, одного наградила, другого, мужики узнали, поколотили...

– Так она померла?

– А черт ее знает. Грунька, может, хворобу и не подцепила, да только ее раза два били, и за дело били, без зубов осталась. Ну и кому она такая нужна? Про это, может, Нюшка-селедка знает, вот они как раз вместе ходили.

– А с девочкой она, значит, не ходила?

– Черт ее разберет. Если девчонка и точно б...дью заделалась, то не тут, у спикеров, гуляла, а где-то еще. Тут бы я ее заметил. Может, у Андреевой гавани промышляла. Может, вовсе на Кипенхольме. Но не на Канавной – там богатые бордели, оттуда бы ее в тычки прогнали, потому – хозяйки лицензию покупают, кому охота из-за малолетки без лицензии остаться? Жалко девку. Попала бы в хорошие руки – под венец бы пошла, детишек бы нарожала.

– А в каком году это было?

– Еще до бунта. Так что, спросить Нюшку, что ли? Она теперь в кабаке у Прохорова судомойкой.

– Спроси, сделай такую милость.

Вернувшись в фотографическое заведение, Лабрюйер оставил там записку для Енисеева: требовался запрос, не пропадала ли где в близких к Лифляндской губернии городах лет около десяти назад девочка лет двенадцати-тринадцати, светловолосая, с длинными косами. И потом он пошел к городскому театру, где было одно из мест сбора орманов, известное всему городу. Ждали они также седоков возле Дома Черноголовых, у Тукумского и Двинского вокзалов.

Мартина Скуи там не обнаружилось – он повез богатых господ куда-то к Гризенгофу. Если не подхватит там других седоков, может скоро вернуться, – так сказал Лабрюйеру при-

ятель Мартина, орман Пумпур. Он же предложил подождать в кондитерской Шварца – там из окон виден ряд бричек, и господин сразу поймет, что Скуя прибыл. Лабрюйер согласился. После прогулки в Московский форштадт и обратно не грех было бы и хорошо пообедать.

Он взял столик у окошка, заказал чашку горячего бульона с гренками, порцию рождественского гуся с яблоками и чашку кофе с грушевым пряником.

За окном был зимний пейзаж. На первом плане – орманы со своими бричками, составившие довольно длинную очередь, но на заднем – очаровательно заснеженный маленький парк перед городским театром, где нянюшки катали на санках малышей, а дети постарше сами катались с горки. Это было похоже на рождественскую открытку, только ангелочков с музыкальными инструментами в небе не доставало, да не совсем соответствовал благоговейному настроению фонтан работы мастера Фольца. Мастер изобразил обнаженную девицу с весьма пышными формами, гораздо выше человеческого роста, над головой девица держала огромную раковину, летом оттуда лилась вода, а зимой над раковиной возвышался снежный сугроб. Из своего окошка Лабрюйер видел лихо торчащую грудь и усмехался – вот такую бы... Он уже давно был один, но раньше на помощь приходил шнапс, теперь же и на шнапс надежды не было. В голове обитали два образа – Валентина, с которой можно было пошалить, но он не воспользовался моментом, и Наташа – а вот Наташа казалась сущей Орлеанской девственницей, невзирая на семилетнего сына. Даже как-то грешно было представлять ее в амурном качестве.

Да и бессмысленно. Мало ли чего она наговорила сгоряча и с перепугу. И это «РСТ»... Как-то все нелепо, взрослые люди таких записочек не шлют...

– Рцы слово твердо, – вдруг сказал он. Вслух и довольно громко.

– Что господину угодно? – поинтересовался по-немецки подбежавший кельнер.

– Счет.

Все удачно совпало – появление счета и приезд Мартина Скуи. Лабрюйер перебежал через улицу и окликнул его.

– Через два дня к теще поедem, – сказал орман.

– Раньше никак нельзя?

– Не выходит. Кунды...

«Кундами» латыши звали постоянных клиентов, были такие и у хороших орманов.

– Ну, ладно... Сейчас-то свободен?

– Свободен, но... Порядок надо соблюдать.

Лабрюйер понял – Скуя в конце очереди, а по орманскому этикету право на седока имеет тот, кто в ее начале.

– Разворачивайся и поезжай к Пороховой башне, там меня подберешь.

– Как господину угодно.

От Пороховой башни они по Башенной улице проехали до Замковой площади, обогнули Рижский замок и берегом, вверх по течению, мимо рынка и причалов, покатали к Московскому форштадту.

Будочник Андрей сидел на своем законном месте, как всегда, не один – к нему пришел продавец сбитня, угостить горяченьким.

– Узнал, узнал! – крикнул он, видя, что Лабрюйер хочет, откинув красивую коверную полсть, прикрывавшую ноги, выйти из брички. – Она в Магдаленинском приюте служит! Там ее ищите!

– Спасибо, старина!

– Спасибо – это многовато, а мне бы шкалик! – старой шуткой отозвался будочник.

Лабрюйер рассмеялся и подозвал сбитенщика.

– Вот пятиалтынный, сходи, принеси чего-нибудь подходящего, чтобы ему поменьше разгуливать. Поскользнется, грохнется – артель грузчиков придется звать, сам не встанет. Мартин, вези меня на Театральный бульвар, к гостинице.

В «Северной гостинице», что напротив сыскной полиции, Лабрюйер спросил карандаш, листок бумаги и с гостиничным посыльным отправил записочку инспектору Линдеру – просил отыскать себя на Александровской или по домашнему адресу. Это обошлось в пятак.

Был зимний вечер, народ с улиц убрался, все сидели за накрытыми столами, каждый сорокалетний мужчина – в семейном кругу, где старшие, родители или тесть с тещей, еще краснощеки и бодры, а самый младшенький лежит в пеленках и похож на румяного ангелочка с открытки.

Лабрюйера ждала холостяцкая квартира. Печь, правда, натоплена, и хозяйка велела горничной постелить свежее постельное белье. Можно в одиночестве почитать газеты или даже книжку. Можно немножко выпить – в меру, в меру!.. Выпить – чтобы скорее заснуть, не думая в темноте об Орлеанской девственнице, которую зачем-то поселили в Подмоскovie.

Что-то не хотелось идти домой, и Лабрюйер сидел в вестибюле гостиницы, собираясь с духом, чтобы выйти из тепла на мороз.

Швейцар отворил дверь, вошла дама, но вошла незаурядно – вместо пожелания доброго вечера громко провозгласила:

– Черт побери, да еще раз побери!

Лабрюйер покосился на нее. Дама как дама, в годах, очень прилично одета, из-под теплой шляпы видно бандо белоснежных волос. Немка, на вид – более чем почтенная немка, монументального сложения, но отчего же ругается, как извозчик?

В вестибюле как раз был вернувшийся из полицейского управления мальчик-посыльный. Лабрюйер показал ему пятак – вдобавок к первому. Мальчик подошел.

– Кто эта дама? – спросил Лабрюйер, взглядом показав на двери, за которой скрылась ругательница.

Мальчишка усмехнулся.

– Говори, посмеемся вместе, – ободрил его Лабрюйер.

– У нас такие гости бывают, что в зоологическом саду им место, – шепотом ответил посыльный. – Приехала в Ригу искать каких-то родственников, в полицию ходит, как на службу. Они там уже не знают, как от нее избавиться.

– Ей прямо сказали, что этих людей в Риге нет?

– Ей это уже сто раз сказали. Не понимает!

– Держи.

– Благодарю, – мальчик, молниеносно спрятав пятак, поклонился.

Лабрюйер за годы службы в полиции на всяких чудаков насмотрелся. Ему не было жаль пятака, напротив – очень часто от гостиничных рассыльных и горничных зависела судьба сложного следствия, так что приятельство с ними в итоге хорошо окупалось.

Утром Лабрюйер пошел в фотографическое заведение. Весь день прошел в суете, которая обычного владельца заведения бы радовала – столько клиентов, столько заказов! – а Лабрюйера под вечер сильно утомила. Когда стемнело, на минутку заехал Мартин Скуя и сказал, что он с утра свободен.

– Подарок для тещи купил? – спросил его Лабрюйер.

– Как господин приказал – штолены.

– Тогда, значит, с утра ты свободен, а часа в три дня заедешь за мной и за господином Панкратовым. Можно наоборот, – пошутил Лабрюйер.

Мартын сперва приехал за Лабрюйером. В пролетке уже сидела его жена, совсем молоденькая и очень хорошенькая, с грудным младенцем, укутанным в несколько одеял. Потом подобрали Панкратова, который устроился в ногах, накрылся полстью и хвастался, что устроился лучше всех – при переправе через реку с головой упрятался и не чувствовал ветра.

Теща Скуи жила на Эрнестининской улице, и это Лабрюйера вполне устраивало – там же поблизости стояли три приюта – один для старух и больных женщин, Магдаленинский, другой

– богадельня германских подданных, третий – рижский приют для животных. Как так вышло, что эти заведения собрались все вместе, Лабрюйер не знал.

Мартин Скуя завел лошадь вместе с пролеткой во двор и закрыл ворота.

– Господин Лабрюйер, если что – в окошко стучите, – сказал он, выглянув из калитки и указав нужное окно.

– Хорошо. Ну, Кузьмич, пошли к старушкам. Глядишь, и тебе невесту посватаем.

– Я и у себя на Конюшенной не знаю, куда от этих невест деваться. Так и норовят на шею сесть.

Лабрюйер засмеялся. Не то чтобы Кузьмич удачно пошутил... Просто вдруг стало смешно, и он сам понимал: такой хохот – не к добру.

Женщины в приюте не бездельничали. Только самые слабые и слепые освобождались от ежедневных работ. Во дворе, а двор у деревянного двухэтажного приюта был довольно большой, две еще крепкие старухи выколачивали перины, третья развешивала на веревке выстиранные простыни. Лабрюйер знал, как прекрасно пахнут выкипяченные и вымороженные простыни, квартирная хозяйка никогда такого аромата не добивалась. Четвертая и пятая накладывали дрова из примостившейся у стены сарая поленицы в большой мешок. Еще одна вышла на крыльцо – одной рукой она сжимала на груди складки теплого клетчатого платка, в другой у нее был ночной горшок, и она, медленно и осторожно ступая, понесла его к каморке возле другой стены сарая, почти у забора. Удобства в приюте были самые скромные.

Лабрюйер и Кузьмич видели все это, стоя у калитки. Наконец их заметила женщина лет пятидесяти, что вышла с костылем – не гулять, а хоть подышать свежим воздухом. Она позвала другую, послала ее к начальнице, и гости были впущены во двор.

Груню (ее давнего прозвища «проныра» тут не знали) приютские жительницы не видели со вчерашнего дня. Начальница была очень ею недовольна – вместо того, чтобы смиренно просить прощения за тайно пронесенное в приют горячее вино, бывшее под строжайшим запретом, она вообще куда-то исчезла: как считала начальница, полная пожилая фрау, явится дня через два, и ее придется принять, потому что найти для приюта сиделку нелегко, ах, как нелегко.

– Но для чего господам наша сиделка? – прямо спросила начальница.

– Возможно, она родственница одного почтенного человека, – ответил Лабрюйер. – Если так – родственники позаботятся о ней.

– Она может не согласиться жить у родственников, – сразу ответила фрау. – Тут ей многое прощается, а в приличном семействе долго терпеть не станут.

– Фрау хочет сказать, что у этой женщина случаются запои? – предположил догадливый Лабрюйер.

– Да, она выпивает... – фрау вздохнула.

– А живет она где?

– Здесь, в приюте. Она трудится ночью, смотрит за лежащими постоялицами, а потом спит до обеда в комнате кастелянши. Там же стоит большой баул с ее вещами.

– Другого жилья у нее нет? Возможно, фрау знает об этом?

– Один добрый Господь об этом знает! Пусть господин меня простит, я должна идти, у нас дважды в день молятся и читают душевспасительные книги, это нашим постоялицам необходимо.

– Не смею задерживать фрау.

Когда начальница приюта ушла, Панкратов сказал:

– Надо бы тех поспрашивать, кому она горячее вино таскала, они больше знают.

– Хотел бы я знать, откуда таскала, – ответил Лабрюйер. – Не на Ратушную же площадь за ним бегала. Где-то тут наверняка есть местечко. Сделаем так – ты, Кузьмич, потолкуй с

бабами, ты для них красавец-мужчина, тебе и карты в руки. А я пойду по окрестностям искать заведение, где вино подают, кухмистерскую какую-нибудь, что ли. Через полчаса вернусь.

Но далеко Лабрюйер не ушел.

По его разумению, какой ни на есть кабак должен был быть на Шварценгофской улице. Но до нее еще нужно было дойти. Он и пошел по узкой тропке вдоль заборов, стараясь не поскользнуться и не сесть в длинный высокий сугроб, зимой вырастающий между дорожкой, по которой ходят, и проезжей частью.

Мальчишки, для которых всякий сугроб – праздник, баловались, устроив скользкий спуск и съезжая прямо на подошвах. По сторонам они, конечно, не смотрели, и Лабрюйер выдернул такого спортсмена прямо из-под конской морды, а потом еще по-русски обругал кучера – смотреть же надо, куда прешь?!

– Чего – прешь, чего – прешь?! – по-русски же возмутился кучер. – Улица узкая, вбок не принять! Дворники – дармоеды!

Для Задвинья это было малость удивительно. Как в центре Риги жили в основном немцы, в Московском форштадте – русские и евреи, так в Задвинье селились главным образом латыши.

– Тут хозяева снег убирают, – возразил Лабрюйер. – И ты аршином левее мог взять. Навстречу никто не катит.

– Ну вот возьму я аршином левее, и что?!

Сгоряча кучер послал кобылу чуть ли не прямо в сугроб. Кобыле что – она послушалась вожжей. Но телега стала под таким углом, что никак на проезжую часть не вывернуть.

– Экий ты недотепа, – сказал Лабрюйер. – Сиди уж, я помогу.

Он перебежал улицу, взял кобылу под уздцы и провел ее вперед, чтобы поставить телегу параллельно забору. Как и следовало ожидать, колеса прошли по сугробу, пока еще довольно рыхлому, сбоку примяли снег.

– Батюшки мои! – воскликнул кучер. – Это что за страсти?!

Из сугроба торчала голая рука.

– Беги живо, приведи кого-нибудь с лопатой, – велел Лабрюйер спасенному мальчишке. – А вы чего стали?! Бегите за старшими!

И пяти минут не прошло – пришел старик, принес большую фанерную лопату, потом прибыли еще двое мужчин, у них была лопата обычная. Раскидав снег, обнаружили женское тело.

Женщина была в какой-то черной кацавейке, в старой суконной юбке, простоволосая, седая. Достаточно было взглянуть на лицо, чтобы понять: удушили.

– Охраняйте, а я пойду в участок, – сказал Лабрюйер.

Ближе всего был второй участок Митавской части – на Динамюндской улице. Если по прямой – немногим более полуверсты. Но улицы в Задвинье проложены причудливо, с самыми неожиданными поворотами.

В полицейском участке Лабрюйер встретил знакомого, объяснил, где искать тело, и, пока не снарядили телегу и агентов, поспешил назад. Он хотел составить свое мнение об этом деле.

Пока дошел, вокруг тела собралась толпа. Оказалось, женщину узнали. И даже помнили ее прошлое. Странно звучало в латышской речи это «Грунька-проньера».

Лабрюйер понимал – следов убийцы не осталось. Вынести спрятанное тело на улицу, положить вдоль сугроба и завалить снегом мог ночью любой, не только мужчина, но и крепкая баба – Грунька оказалась малорослой и тощей.

Сильно озадаченный поворотом дела, он поспешил к Магдаленинскому приюту – вызвать Кузьмича, который наверняка приглянулся постоялицам. Крепкий старик, прилично одетый, был для них отменным кавалером; ну как удастся стать хозяйкой в его доме, пусть без венчания, пусть так?

– Ну, благодарствую, Александр Иванович! – сказал Панкратов, когда Лабрюйер буквально вытащил его со двора. – Видал я старых ведьм, ох, видывал, но не столько же сразу! Так вот, рапортую...

– Груньку убили.

– Это как же?!

– Удавили. Кому она помешала? Не ради денег же.

– Баул! Нужно выемку сделать. У нее наверняка сколько-то прикоплено. Если деньги в бауле – значит, не в них дело. А если нет – значит, куда-то шла с деньгами ночью...

– Ты почему знаешь, что ночью?

– Так ведьмы же сказали. Сбежала, оставила двух помирающих старух и сбежала.

– С кем-то, видать, назначила randevu. Ночью, говоришь?

– А черт их разберет, этих ведьм. Темнеет рано. Ложатся они, думаю, в десять, ну, в десять. Вроде и не ночь, а глянешь за окно – она самая... Часов у них нет, темно – значит, ночь.

– Насчет выемки я узнаю в полиции. Придется опять Линдера беспокоить. Ты прав, Кузьмич, это важно. А теперь бегом к Мартиновой теще. Мартин там за чаем засиделся, а тещу он, кажется, недолюбливает, и мы явимся, как два ангела-хранителя, – вызволять...

– И то! Были у меня две тещеньки. Вспомню – вздрогну.

Лабрюйер с Кузьмичом нашли нужный дом, постучали в окно, занавеска отлетела в сторону, и они увидели круглую сытую физиономию ормана. По улыбке поняли – пришли вовремя.

Он выскочил в калитку, на ходу надевая шапку.

– Сейчас скотинку свою выведу. А Леман пропал. Второй день родня ищет. Вышел из дому покурить на крыльце и пропал.

– Черт возьми! – воскликнул Лабрюйер. – Где его искали?

– Всюду. И по питейным заведениям, и по всем дворам – мало ли, может, кто видел.

– А покурить вышел – когда?

– Вечером. У дочери с зятем сидели гости, а он трубку курит, набивает ее таким табаком, что вонь на весь Агенсберг. Вот, накинул старый полушубок, вышел покурить – и нет его... Все соседи головы ломают – куда подевался. Давайте я вас, господа, отвезу и за женой вернусь. Куда прикажете?

– Сперва – на Конюшенную, потом на Александровскую.

По дороге в свое фотографическое заведение Лабрюйер сперва молчал. Потом заговорил:

– Ты, Кузьмич, никому не рассказывал, что я занялся этими тремя делами об убийствах девочек?

– Да что я, сдурел, что ли?

– Пропали два свидетеля по двум убийствам, один в свое время был, я думаю, просто подкуплен, другого запугали. И, заметь, очень быстро они пропали, я и за дело толком взяться не успел. Где протекло?

– Андрей? – предположил Панкратов. – Это вряд ли. А вот Нюшка-селедка...

– Она знала, где искать Груньку.

– Новопреставленную рабу Божию Аграфену, царствие ей небесное.

– Выходит, Нюшка, узнав, что кто-то интересуется той, первой смертью, знала, куда с этой новостью бежать?

– Черт ее разберет. Шлюха – она шлюха и есть.

– Очень все это странно...

– А чего странного? Нюшка ведь, прежде чем в судомойки пойти, работала в борделе на Канавной улице, а там и чистая публика бывала. Она бог весть с кем может быть знакома.

Канавная была настоящей улицей красных фонарей – в прямом смысле этого слова. Там стояли рядышком три борделя, и возле каждого – пресловутый красный фонарь. Более полу-

сотни молодых и привлекательных проституток обслуживали моряков, рабочих с окрестных заводов, зажиточных торговцев с Агенсбергского рынка. Туда, в Задвинье, и с правого берега Двины господа приезжали.

– Так ты ее знаешь?

– Тогда-то знавал, лет – сколько же лет-то?.. Пятнадцать? Ну, не двадцать же. Лет пятнадцать назад. И слышал краем уха, что ее из ремесла погнали, так она судомойкой пристроилась. Сколько ж можно в ремесле-то? Там свеженькие нужны.

– Кто, кроме Нюшки, мог знать, что я ищу Груньку и Лемана?

Панкратов пожал плечами.

– Будь осторожен, – предупредил его Лабрюйер. – Теперь и ты к этому делу пристегнулся. Револьвер-то у тебя есть?

– Тсс...

По лукавому взгляду Кузьмича Лабрюйер понял – не то что есть, а целый арсенал припасен.

Происхождение арсенала угадать было нетрудно – в 1905-м печальной памяти году оружия в Риге было великое множество.

Высадив Панкратова у начала Конюшенной, Лабрюйер поехал в фотографическое заведение и сразу пошел в лабораторию к Хорю.

Сейчас, когда почти стемнело и нельзя было вести съемку в салоне, двери заперли, а Хорь скинул ненавистную «хромую» юбку и работал в штанах и обычной мужской рубашке.

– Мне Горностай нужен, – сказал Лабрюйер. – Дело осложняется.

– Горностай раньше десяти не придет. Он вчера на «Феникс» устроился.

– Кем?!

– Чертежником. То есть устроили его. А чертить он умеет. Это я в корпусе, когда чертеж тушью обводил, проклятая тушь только что в потолок не летела. А он – аккуратный.

До сих пор Лабрюйер за Енисеевым особой аккуратности не замечал. Но знал, что контрразведчик способен исполнить с блеском любую роль – хоть зануды-чертежника, хоть цыгана-конокрада, хоть вдовой попадьи.

– Пойду-ка я, позвоню Линдеру. Тут такое дело – без полиции эту кашу, боюсь, не расхлебаем.

Линдера звонок застал в полицейском управлении.

– Во втором Митавской части участке тело подняли, – сразу перешел к сути разговора Лабрюйер. – Женщина, бывшая проститутка. И там же, по соседству, старик один пропал без вести. Так вот – убийство и пропажа могут быть связаны, донеси эту мысль до второго участка.

– Каким манером?

– А таким, что оба связаны с одним и тем же давним делом. Точнее, дел-то трое, а преступник явно один. Слушай внимательно...

И Линдер все выслушал очень внимательно.

– Ты этим занялся по той же причине, по которой осенью гонялся за приезжими шулерами? – спросил он.

– Да. Мне нужны сведения о всех трех убийствах. Попробуй взять в архиве хоть на ночь, мне скопируют.

– Я постараюсь.

– Как супруга, как наследник?

– Спать он совсем не дает, этот наследник, – признался Линдер. – Я даже иногда к тетушке ночевать убегаю. Начальству-то все равно, что в доме грудной младенец, ему подавай инспектора, который с утра не клует носом.

– Это верно. Если сможешь помочь – телефонируй, встретимся.

Линдер позвонил на следующий день из частной квартиры. Телефонограмму принял Ян. Свидание было назначено возле дома на Суворовской, где жил Линдер со своей юной супругой. Особым требованием было – взять с собой саквояж. Лабрюйер прихватил тот кодовый саквояж, с которым прибыл в Ригу Хорь в образе эмансипэ Каролины, и помчался туда к указанному времени. Потом он вернулся в фотографическое заведение и показал Хорю набитый бумагами саквояж.

– У нас в распоряжении ночь. Сейчас пошлем Пичу в кухмистерскую за ужином – и за работу.

Увидев бумаги – на иных чернила были отчетливо видны, на других выцвели, – Хорь присвистнул.

– Ничего себе задачка!

– Все не так страшно, как кажется. Но бессонная ночь обеспечена. Пошли в лабораторию.

Там они приготовили все, что требуется, чтобы переснять документы. И началась мука мученическая.

Лабрюйеру нужно было очень быстро пересмотреть бумаги, чтобы решить, какие могут пригодиться, а какие бесполезны. Бесполезных, как и в любом деле, хватало: допросные листы свидетелей, которые ничего не видели и не слышали, хотя были бы просто обязаны. При этом он, отдавая порцию бумаг в лабораторию и получая оттуда уже сфотографированные, должен был все складывать в изначальном порядке. К четырем часам ночи он понял, что сходит с ума.

В семь утра Хорь и Лабрюйер завершили работу. Хорь обулся, оделся и вместе с Лабрюйером пошел на Суворовскую – отдавать документы. Он широко и бодро шагал, даже насвистывал – так был рад возможности пройтись в мужском костюме. Лабрюйер плелся следом, едва не засыпая на ходу. Сверток с бумагами, замотанный в кусок парусины, они, как было условлено, оставили на лестнице, выше жилища Линдера, у ведущего на чердак люка.

Потом они пошли домой. Хорь, живший в том же подъезде, что и Лабрюйер, пташкой взлетел на шестой этаж. Лабрюйер медленно и чуть ли не со скрипом суставов поднялся к себе на третий. Зависть – отвратительное чувство, но он бешено завидовал двадцатилетнему Хорю.

Нужно было часа за три выспаться и привести себя в такое состояние, чтобы весь день работать с фотографическими карточками, из которых больше половины – таких, что без лупы ни черта не понять.

Лабрюйер разделся, лег – и услышал музыку.

Это уже было однажды – музыка романса вдруг зазвучала в голове, похожая на пловца в бурном море – то выныривала, то исчезала. Даже слова прорезывались, невнятные, но все же: «...жаворонка пенье ярче, внешние цветы...» Тогда он не выдержал и кинулся к этажерке, искать на нижней полке ноты. А сейчас чувствовал, что не в силах пошевелиться, зато в силах управлять звуками.

Лабрюйер заставил романс Римского-Корсакова прозвучать внятно, с начала до конца. И затосковал страшно, просто невыносимо. Редко с ним приключались на трезвую голову приступы жалости к себе, одинокому и, кажется, стареющему. Но вот нахлынуло – и да еще обида прибавилась, обида на далекую женщину, которая, кажется, совершенно его забыла.

– Ну и Бог с ней, – сказал себе Лабрюйер. – Женюсь на ком-нибудь...

Это была страшнейшая угроза самому себе.

Утром, проснувшись, Лабрюйер сразу вспомнил о двухфунтовой стопке фотографических карточек и чуть не застонал.

Позавтракав на скорую руку (кофе вскипятил на спиртовке, достал из полотняного мешочка, висевшего за окном, кусок деревенского сала и отрезал два порядочных ломтика для бутербродов), Лабрюйер отправился в фотографическое заведение. По дороге купил хорошую лупу.

К ужину он уже составил план действий. Нужно было отыскать мать третьей из убитых девочек и узнать все, что только возможно, о пропавшей гувернантке.

Тем временем из столицы пришла телефонограмма. Хорь записал ее и отдал Лабрюйеру.

Да, действительно, в Выборге пропала девочка тринадцати лет, из хорошей семьи, с длинными светлыми косами, и как раз в то время, когда под причалом возле двинских спикеров нашли тело. Теперь следовало составить другой запрос – в выборгские полицейские участки, занимавшиеся тогда розысками девочки. Любая подробность могла стать решающей.

Лабрюйер подготовил запрос, но без Енисеева отправлять не стал. Зато он телефоновал Аркадию Францевичу Кошко в Москву. Кошко уже более четырех лет был начальником Московского уголовного сыска и придумал для подчиненных особый значок с буквами «МУС». Он не мог предвидеть, что московское жулье вскоре придумает для его агентов прозвище «мусора».

– Аркадий Францевич, помощь нужна, – прямо сказал Лабрюйер. – По делу, которое оказалось более серьезным, чем все мы полагали.

Он сам еще не был убежден, что взял верный след. Однако старался говорить уверенно и объяснил, кто ему требуется: родня убитой шесть лет назад Марии Урманцевой. Желательно – мать. Если у этой госпожи есть дома телефонный аппарат – то вовсе замечательно.

В то время как девочку убили, Кошко уже служил в Санкт-Петербурге и подробностей дела не знал. Лабрюйер вкратце рассказал о трех поднятых телах.

– И, полагаю, их было побольше трех, просто остальные злодей сумел хорошо спрятать, – завершил он. – Вы же знаете, Аркадий Францевич, что такое маньяк. Начнет – так уж его не остановить.

– Да, это точно, – согласился Кошко. – Чем могу – помогу.

Глава третья

Утром Лабрюйер написал целый меморандум для Енисеева и отдал Хорю. Потом он пошел взглянуть на дом, где нашли вторую убитую девочку. На всякий случай взял с собой револьвер. Московский форштадт – не то место, где можно вести розыск безоружным.

Этот дом заставил задуматься...

Московская улица шла почти параллельно речному берегу и соединялась с этим берегом короткими безымянными переулками. В одном из них, выходившем к протоке, за которой был остров Звирзденхольм, и стоял дом, который уже не был заброшенным – кто-то в нем поселился.

Причал у спикеров, дом в трех шагах от реки, Лощманская улица на северной оконечности Кипенгольма, там, где он шириной не более сотни сажен...

– Лодка, – сказал Лабрюйер, причем довольно громко.

Но какой безумец возьмется сосчитать все лодки, что шныряют по Двине?

Срочно нужны были подробности об исчезновении девочки в Выборге! Выборг – он ведь как будто у воды стоит?

Лабрюйер вышел на Романовскую и быстрым шагом понесся в свое фотографическое заведение.

Там он обнаружил двух хороших певиц, Минни и Вилли. Хорь развлекал их как умел.

– А мы пришли узнать, не нашелся ли для нас итальянец. Или хоть итальянка, – спросила темненькая, Вилли.

Лабрюйер хлопнул себя по лбу.

– Простите, барышни! Столько дел, столько заказов! Но мы найдем, мы непременно найдем! Фрейлен Каролина, сбегайте к госпоже Круминь...

По взгляду Хоря Лабрюйер понял – сейчас парня от девиц и упряжкой владимирских тяжеловозов не оттащишь.

– Или нет, я сам к ней зайду, попрошу, чтобы сварила кофе! – поправился он. – Заодно и принесу пирожных из кондитерской. А вы, фрейлен, пока развлекайте красавиц!

С тем Лабрюйер и убрался прочь через черный ход.

Попросив госпожу Круминь подать кофе в большом кофейнике, он поспешил в любимую кондитерскую у Матвеевского рынка.

В дневное время кондитерскую посещали семьями, Лабрюйер не обращал внимания на детский гомон и целенаправленно пробивался к стойке, за которой трудился буфетчик, ловко хватая с подносов и упаковывая пирожные и булочки.

– Господин Лабрюйер, – услышал он. Его позвал женский голос, мягкий и сильный.

Лабрюйер обернулся и увидел Ольгу Ливанову. Она сидела за столиком с дочкой, сыном и гувернанткой.

– Добрый вечер, сударыня, – сказал он, подходя.

– Добрый вечер. Я уж не знала, как с вами встретиться. В вашу «фотографию» заходить побоялась. Как бы не навредить... А бродить по Александровской, дожидаясь, пока вы выйдете, тоже как-то не с руки... – она смутилась. – Бог весть за кого примут. Посылать письмо с мальчишкой тоже рискованно – я не хотела, чтобы господин Енисеев знал про это письмо.

– Да какое письмо?!

Лабрюйер уже понял – какое! Но верить своей догадке не желал.

– К счастью, оно у меня с собой. Наташа вложила его в конверт, адресованный мне. Вот так и ношу его...

Ольга достала из хорошенького бархатного ридикюля, украшенного модной вышивкой, сложенный вдвое конверт.

– Да забирайте же, – тихо приказала она. – Можно подумать, я пытаюсь вам всучить любовное признание, а вы меня гордо отвергаете.

– Простите...

Лабрюйер быстро сунул конверт в карман. Он настолько ошалел, что не понимал, как продолжать разговор.

– У нее все хорошо, – сказала Ольга. – И она, и Сережа в безопасном месте. Родня мужа до нее там уже не доберется.

– Честь имею кланяться... – пробормотал Лабрюйер и, как сомнамбула, вышел из кондитерской. На улице он понял, что забыл купить пирожные. И встал столбом, мучительно пытаясь принять решение: возвращаться ли в кондитерскую или искать пирожные в ином месте.

Наконец он додумался, что можно взять что-то сладкое во «Франкфурте-на-Майне», напротив фотографического заведения.

В ресторане при гостинице его знали и предложили выпить чашку кофе, пока соберут для него пакет с пирожками и печеньем. Он охотно согласился – это давало возможность прочитать наконец письмо в полном одиночестве. Посетители ресторана – не в счет.

«Я не знаю, как к тебе обратиться., – так начала Наташа. – Не писать же, право, “Милостивый государь Александр Иванович”. Просто “Александр” – сухо, жестко. А хотелось бы – Саша, Сашенька... Но могу ли?... Я, кажется, смертельно перепугала тебя своим признанием. Если так – прости меня. Ты – единственный, кому я хотела рассказать о себе, чтобы ты понял, отчего я такая...»

Лабрюйер понимал женщин настолько, насколько обязан сообразительный полицейский агент и толковый полицейский инспектор. Он знал, на что способны воровки и проститутки, знал также, как становятся воровками благовоспитанные дамы из хороших семейств, знал, как они губят нежеланных детей и зажившихся стариков. Но тонкости и оттенки женского любовного переживания были ему совершенно чужды – и он растерялся.

«Но я не стану начинать с детства, хотя детство в моей истории много значит, – писала она далее. – Любви между родителями не было, ненависти, как это случается, тоже не было, а я, совсем еще дитя, видела только скуку. Да, скука в их отношениях преследовала меня, она стала страшнейшей из угроз. Вот почему я мечтала о любви страстной, необычной, сметающей все препятствия. И я, неопытная дурочка, отдала эту любовь чуть ли не первому, кто догадался тайно взять меня за руку и поиграть пальчиками...»

– Этого еще не хватало... – пробормотал Лабрюйер.

Он имел в виду дамскую экзальтированность. Мода на роковых женщин достигла, разумеется, и Риги – с поправкой на немецкую сентиментальность и основательность.

Несколько строк он пропустил – возможно, правильно сделал.

«...и я шла под венец с совершенно неземным восторгом. Потом началась семейная жизнь, и у меня хватало сил не обращать внимания на досадные мелочи, хотя иные терпеть и не стоило, – признавалась Наташа. – Я верила, что обрела свою единственную любовь. Потом родился Сережа, и я стала счастливой матерью. До той поры, когда я узнала, что муж мне неверен, я жила в идеальном мире. Вечно это продолжаться не могло. Но я теперь понимаю, что идеальный мир хрупок. Тогда я была наивной дурочкой. Мне казалось, что наступил тот самый, обещанный Иоанном на Патмосе, конец света...»

О том, как неудачно Наташа стреляла в неверного мужа, Лабрюйеру рассказывал Енисеев. Знать подробности он совершенно не желал. Он вдруг понял одну важную вещь – чтобы мужчина и женщина были счастливы вместе, им совершенно незачем знать прошлое друг друга во всех мелочах, довольно того, чтобы в общих чертах.

«Когда я вышла из суда, меня встретили овациями, курсистки бросали мне белые цветы. Только не подумай, Саша, будто я хвастаюсь этим, нет, клянусь тебе, нет! Я в тот день вообще очень плохо соображала. За неделю до того умер Григорий...»

– Какой еще Григорий?... – удивился Лабрюйер. – Не было никакого Григория!

Он еще не дошел до того, чтобы в ресторане вслух с самим собой разговаривать. Но внутренний голос оказался довольно громким – Лабрюйер даже испугался, что это уста заговорили. Несколько секунд спустя он понял – речь о покойном Наташином супруге. Том, кого она желала застрелить, но промахнулась. Супруг оказался трусом – вместо того, чтобы прикрикнуть на обезумевшую жену, сиганул в окошко, неудачно упал, расшибся, образовалось внутреннее кровотечение. Человек, насмотревшийся на покойников и побывавший во всяких переделках, знает, что это за гадость.

«...и накануне суда ко мне пришла его матушка. Боже, как она кричала! Когда я вернулась домой, Сережи там уже не было, его увезли. Я с ног сбилась, отыскивая следы. Светские знакомые, которые сперва осыпали меня комплиментами, понемногу все от меня отвернулись. Я поняла цену их дружбы...»

– Да уж... – буркнул Лабрюйер. Он очень хорошо понимал людей, которые перестали приглашать к себе даму, что хватается за револьвер из-за сущего пустяка, мужниной интрижки.

«Теперь ты понимаешь, Саша, в каком я была состоянии, когда собралась уйти в монастырь...»

– О Господи... – прошептал он.

Честно говоря, Лабрюйер прекрасно обошелся бы без этой исповеди. Ему бы вполне хватило простых слов: соскучилась, часто тебя вспоминаю, жду встречи. Он свернул письмо и сунул в карман, решив дочитать на досуге. Что-то с письмом было не так – оно не вызывало желания сразу написать ответ, как полагалось бы. Нужно было думать, а думать об отношениях с женщиной, анализируя их во всех причудливых тонкостях, для многих мужчин – сущий ужас. Так что Лабрюйер взял приготовленный для него сверток, надел пальто и котелок, вышел на Александровскую и лихо перебежал ее прямо перед трамваем.

Хорь сидел в салоне один – разве что в компании остывшего кофейника. Лабрюйер положил на столик сверток с пирожками и печеньем. Хорь, надувшись, отвернулся.

– Найдем мы им итальянца или итальянку, – вздохнув, сказал Лабрюйер. – Ты ведь догадался взять у них адреса и телефонные номера?

– Они теперь вместе живут, – ответил Хорь. – Родители позволили Вилли немного пожить у Минни, чтобы приглашать домой одного учителя на двоих, так дешевле выйдет. Оплатили ее полный пансион. Девуцы просто счастливы. Они на Елизаветинской живут. И телефон там есть, Минни записала. Где же теперь искать итальянца?

– Черт его знает... – Лабрюйер задумался. Всякий иностранец должен сообщить о себе в полицию. Хозяева гостиниц подают туда сведения о постояльцах. Если синьор или синьора прибыли в Ригу, не скрывая своего происхождения, то в полицейских участках о них знают. А если тайно?

Дверь, ведущая в задние помещения «Рижской фотографии господина Лабрюйера», приоткрылась, и оттуда выглянула круглая румяная физиономия Росомахи.

– Приветствую! – сказал Росомаха и собирался было что-то добавить, но Лабрюйер перебил его:

– Мне нужен Горностай.

– Горностай усердно рисует шестеренки. Ты знаешь, Леопард, что такое шестеренка? О, это мечта чертежника!

– Так ему и надо. Ты увидишь его сегодня?

– Я могу оставить записку для Барсука.

– Сойдет. Мне нужно сделать запросы в столицу.

– Да, он говорил, что ты взял след.

– И препоганный след...

Лабрюйер взял кофейник с остывшим кофе, пакет с лакомствами и повел Росомаху в закуток возле лаборатории. Там он рассказал о своих изысканиях и подозрениях так, как, возможно, не рассказал бы Енисееву. Росомаха был ему куда ближе ехидного и причудливого контрразведчика.

– А ты догадываешься, что это может быть злодей, совершенно непричастный к краже сведений? – спросил Росомаха. – Ты так яро пошел по следу, но всего по одному следу. Что, если ты потратишь время на маньяка, не пытаешься найти других кандидатов в шпионы? А маньяк окажется всего лишь безумцем, давно сидящим в палате на Александровских высотах?

– Александровские высоты? Стой! Это ты хорошо подсказал...

– Рановато ты туда собрался.

Но Лабрюйеру было не до шуточек. Он притащил фотокарточки с копиями документов; бурча и чертыхаясь, отыскал то, чему от усталости и помутненного рассудка сразу не придал значения.

– Свидетель, у нас есть свидетель... вот, гляди... если только он жив и не спятил всерьез... вот, студент политехникума, и надо же – латыш, Андрей Клява...

Политехникумом рижане по привычке называли Политехнический институт. Хотя название уже несколько лет как поменялось, но одно слово выговорить сподручнее, чем два.

– Что за фамилия такая странная?

– По-латышски – «клен». У них много таких растительных фамилий. Наш Ян – Круминь, а это «кустик». Клява! Знаешь, сколько в здешней губернии Кляв? А искать родню придется.

– Ты слишком увлекся, Леопард, – спокойно сказал Росомаха. – Нельзя так.

– Клява был признан невменяемым и законопачен в лечебницу навеки. Но если он был подсунут суду вместо виновника, значит, были доказательства, что он во время предполагаемой смерти девочки околачивался где-то поблизости. Надо...

– Не надо, Леопард. На Александровских высотах твой Клява в безопасности. Если только он жив. Такие козыри достают из рукава в последнюю минуту. Ты отлично идешь по следу, но тут – игра...

Росомаха сказал это очень серьезно. И Лабрюйер понял его куда лучше, чем понял бы Енисеева со всеми енисеевскими выкрутасами.

– Ты считаешь, лучше его пока не трогать?

– Не забудь – Эвиденцбюро знает, что твоя «фотография» – что-то вроде нашего опорного пункта. Тебе ничто не угрожает, но за тобой наблюдают...

– Черт!

– Ты так увлекся сыском, что, кажется, совсем забыл об этом, – тихо сказал Росомаха.

– Я последняя скотина...

– Нет, ты просто отличный сыщик. Так и Горноста́й считает. Но ты никогда не был тем, кого преследуют.

– Отчего же, был...

– В молодости, когда гонял всякую шуштуру. То ты за ними по крышам скачешь, то они за тобой. Ты увлекся одной версией, и это плохо. Нужно и прочие попробовать, – рассудительно сказал Росомаха. – Конечно, оба убийства можно считать доказательством, что ты уже приблизился к источнику сведений. Можно – но не успокаиваться на этом.

– Ты хороший товарищ...

Лабрюйер имел в виду, что Росомаха деликатно, но твердо разъяснил ему положение дел без всякого ущерба для самолюбия.

– Да и Горноста́й хороший товарищ, – усмехнулся Росомаха. – Просто ремесло у вас разное. Ты – сыщик, ты загоняешь дичь, вот этим и занимайся. Он... он – актер, понима-

еешь? Он кем угодно притворится, чтобы добыть сведения. Вот Хорь у него учится. Думаешь, почему Хорю велено ходить в юбке? Пусть воспитывает самообладание. Я тоже несколько ролей отлично исполняю – пьяного купчину, к примеру, так изображу!..

Лабрюйер вспомнил, как Росомаха извлекал его из гостиничного номера, где фрау Берта чуть было не уложила его в постель.

– А ты – не актер. И ничего в этом плохого нет. Мы это знаем и актерствовать тебя не заставим. Так что ищи других непойманных мерзавцев, не только маньяка.

– Как же быть с Клявой?

– Мы попробуем остороженько узнать, жив ли он вообще. А теперь – вели Пиче сбегать за провиантом. Я голоден, как собака!

Росомаха поел и прилег отдохнуть. Ему предстояла бессонная ночь, а что за дело – он не сказал. Лабрюйер знал, что обижаться не след – у каждого в наблюдательном отряде свое занятие, вот ему отвели поиск ценной добычи полицейскими способами, прочие исследуют окрестности рижских заводов на свой лад. А военные заказы – всюду: «Руссо-Балт», кроме автомобилей и вагонов, изготавливает походные кухни, телеграфные и телефонные двуколки, ящики для снарядов; «Феникс» стал выплавлять отменную сталь; «Ланге и сын» мало того, что корабли строит, – на подводную лодку замахнулся; «Мюльграбенская верфь» собирается строить миноносцы; «Унион» – электродвигатели...

Заводов и фабрик много, наблюдательный отряд – один.

Лабрюйер малость затосковал – поняв, что наломал дров. Не то чтобы он в годы полицейской службы был совсем уж безупречен и блистал чистотой совести – всякое случалось. Но две смерти подряд? Многовато. Тут кто угодно затосковал бы – от сознания своей преступной глупости.

Лабрюйер ушел в пустой салон. За стеклами витрины шла вечерняя городская жизнь. Рижане гуляли, шли в гости, возвращались из гостей. Город понемногу близился к той грани, когда кончаются невинные вечерние развлечения честных бюргеров и начинаются иные – с ароматом дорогих коньяков и горьким запахом абсента, с облачками приторно-сладкой пудры на обнаженных плечах и кокаинового порошка, с отчетливым душком дорогого и грошового разврата.

Среди прочего реквизита, в салоне был и подсвечник с двумя свечками. Лабрюйер зажег их и снова взялся за Наташино письмо. Перечитал. Удивился тому, что оборвано чуть ли не на полуслове:

«Саша, любимый, я не могу больше писать. Помню, все помню и жду встречи. РСТ. Твоя».

«РСТ» – это было как пароль, «Рцы слово твердо». Он помнил, как она это говорила...

Лабрюйер смотрел на листок и мучился: что на это можно ответить? Есть ли в природе такие слова?

С утра он телефонировал Линдеру.

– Посоветоваться надо, – сказал он молодому инспектору. – Давай я тебя завтраком в «Северной гостинице» угощу. И оттуда ты – сразу на службу...

Чуть ли не прямо в трубке раздался рев младенца.

– Я бегу, жди меня там! – крикнул Линдер и пропал.

Лабрюйер быстро оделся, выбежал на Суворовскую и вскочил на заднюю площадку трамвая. До Полицейского управления и «Северной гостиницы» напротив него было – рукой подать, то есть примерно полторы версты, летом пробежаться – одно удовольствие, а зимой, пожалуй, четверть часа потребуется. Но он не хотел заставлять Линдера ждать. И он догадывался также, что младенец в доме – это постоянные траты. Лабрюйер предполагал, что питается теперь молодая семья не лучшим образом. И, опередив Линдера минут на десять, успел заказать яичницу, бутерброды с копченой рыбой, булочки с кремом и неизменный кофе.

Лабрюйер уже успел обсудить с Линдером, как именно искать заезжих итальянцев, когда в ресторан вошла давешняя дама-ругательница и решительно двинулась к их столу.

– Доброе утро! – громогласно сказала она. – Господин инспектор, я по своему делу! Неужели в Риге так мало порядка, что за две недели нельзя найти несколько женщин и одного мужчину?

– Госпожа Крамер, вот тот человек, который вам нужен! – воскликнул Линдер. – Он занимается частным сыском, он что угодно из-под земли достанет! Рекомендую – господин Гроссмайстер! А я не могу – служба, служба!..

И Линдер сбежал.

– Присаживайтесь, госпожа Крамер, – обреченно сказал Лабрюйер. – Кого вы ищете? Если наша полиция до сих пор этих людей не нашла – так, может, они и не в Риге?

– Я сразу вижу, что вы человек солидный, не то что молодой петух. С вами я могу говорить прямо. Благоволите подняться ко мне в номер, – приказала госпожа Крамер.

Это оказался тот самый номер, откуда Лабрюйера спасал отважный Росомаха.

Дама сняла шляпу, долго опраправляла перед зеркалом пышное бандо седых волос, потом села за стол и заговорила.

– Садитесь и вы. Ну вот, теперь слушайте. Я ищу двух своих теток, которые, скорее всего, умерли, также кузена моего покойного первого супруга, который, видимо, давно на том свете, и еще одну дальнюю родственницу – ей тоже уже пора бы переселиться в небесные чертоги.

Лабрюйер от такого начала онемел.

– Но сами они мне не нужны. Я имею средства, да! Значительные средства! А они – попрошайки.

– Так чего же вы хотите, сударыня?

– Найти их, разумеется.

– Ну, хорошо. Запишите мне их имена.

Фрау Крамер замялась.

– Все это немного сложнее, чем кажется, господин Гроссмайстер. Найти этих людей – только половина дела. На самом деле мне нужны другие люди, черт их побери, да еще раз побери!

Лабрюйер понял, что по этой даме тоскует палата на Александровских высотах.

Рижский приют умалишенных имел давнюю и любопытную историю. Основоположником его рижане считали государя Александра Первого. Побывав в 1815 году в Риге, он, разумеется, посетил Цитадель – крепость, которую шведы прилепили к северной оконечности Риги – какой она была в семнадцатом веке. Цитадель строилась для нужд шведского гарнизона, потом в ней разместили русский гарнизон, а также рабочий дом и лазарет. Там царь увидел, в каких условиях содержатся несчастные рижские безумцы, и ужаснулся. Положим, по всей Европе опасных сумасшедших держали взаперти и в цепях, но именно эти потрясли царя настолько, что четыре года спустя он подарил для устройства приличной лечебницы участок на Александровских высотах. Но к названию местности царь отношения не имел – случилось забавное совпадение. Во время Северной войны, в 1710 году, там распорядился поставить укрепления Александр Меншиков. А поскольку скромностью он не страдал, то и велел впредь звать их Александровскими высотами.

Сейчас это богоугодное заведение состояло из нескольких каменных зданий. Кроме безумцев, там находили приют и обычные немощные старики, не имевшие близких, а также приезжали туда студенты-медики – потому что лечебница имела свой склеп и помещение для вскрытия трупов.

– И какие же люди нужны уважаемой госпоже? – осторожно спросил Лабрюйер, уже ожидая услышать имена Александра Македонского и Наполеона Бонапарта.

– Мне нужны... О мой бог, как все это мерзко! Вы человек солидный, не молодой бездельник, как этот полицейский инспектор.

– Но вы сперва объясните, кто вам нужен. Видите ли, у меня мало времени.

– Да, да, я понимаю. Такой господин, как вы, не может сидеть без дела, он необходим всем. Такой положительный добропорядочный господин, наверняка примерный отец семейства... Должно быть, у вас прелестные малютки?

– Изумительные, – подумав почему-то про Хоря, ответил Лабрюйер и усмехнулся в усы: знал бы Хорь, что его считают малюткой... – Простите, у меня назначена деловая встреча.

Лабрюйер встал.

– Одну минуту, всего одну минуту! Я объясню вам суть! Есть вещи, говорить о которых трудно – все равно что признаться: да, я плохая мать, я утратила бдительность, я потеряла единственную дочь...

– При чем тут дочь? – искренне удивился Лабрюйер.

– Да ведь она сбежала в Ригу вместе с этим мошенником-итальянцем!

Лабрюйер сел.

– Что за мошенник? – строго спросил он. – Откуда взялся?

– Приехал к нам в Дрезден, рисовал портреты, давал уроки рисования. И высматривал девиц с хорошим приданым!

– Это случается. Но почему же вы прямо не сказали в полицейском управлении, кто вам нужен?

– Ах, мне было стыдно...

– Но как вы догадались, что ваша дочь и итальянец сбежали в Ригу?

– Очень просто – у мужа тут родня. То есть у моего покойного первого мужа. Мы иногда переписывались, поздравляли друг друга с праздниками. Догадаться было легко – Софи украла письма из шкатулки, а в письмах были адреса рижской родни. Вот почему я думаю, что они сбежали в Ригу. Они знали, что в Риге их примут и приютят.

– Хм... Говорите, итальянский живописец?

– Мазила! Настоящий низкопробный мазила! Меня учили рисованию, я в живописи разбираюсь! Ему хватило месяца, чтобы увлечь мою маленькую дурочку!

– Как это случилось?

Дама, то охая, то ругаясь, рассказала: живописец по прозвищу Мазарини появился в Дрездене, где и своих мазил хватало, осенью, возможно, в октябре. В ноябре он уже давал уроки Софи и ее подругам. В середине декабря он похитил Софи и скрылся.

Была в этой истории одна подозрительная нелепость – фамилия афериста. Госпожа Крамер явно не знала французской истории, а Лабрюйер читал романы Дюма и знал про кардинала Мазарини. Взять себе такое прозвание мог только большой наглец, уверенный, что в благопристойном немецком городе историей семнадцатого века интересуются только учителя в гимназии. Наглец был уверен, что никто не спросит его о фамилии – или же твердо знал, что в Дрездене он ненадолго...

– Я попытаюсь найти этого Мазарини, – сказал Лабрюйер. – Что вы успели сделать?

– В полиции мне сказали, что родственников мужа в Риге не обнаружено. Я побывала на кладбищах, в конторах. Таких людей не хоронили.

– Что вы еще сделали?

– Я каждый вечер хожу в театры, даже в Латышском обществе была, слушала какую-то русскую оперу, совершенно непонятную. Видите ли, Софи обожает театр. Если она в Риге – то обязательно ходит на спектакли. А одна она в театр не пойдет, значит, они придут вдвоем. Господин Гроссмайстер, что, если нам сегодня вечером отправиться в Немецкий театр? Все расходы я беру на себя!

– Нет, этого мы не сделаем. А сделаем вот что – вы мне дадите фотографическую карточку дочери...

– Но почему?..

– Потому что нас не должны видеть вместе, госпожа Крамер. Вы ведь хотите не скандал в театре устроить, а отвести Мазарини от вашей дочери. Для этого нужно хотя бы собрать сведения о нем.

– Да, скандал в театре я бы непременно устроила, – призналась дама. – Я бы его убила!

– Доставайте фотографическую карточку дочери.

– Да, да, сейчас...

Ридикюль госпожи Крамер габаритами соответствовал хозяйке, и Лабрюйер не удивился бы, если бы оттуда явился парадный портрет в позолоченной раме.

– О мой бог, где же она, где же она? – бормотала дама, выкладывая на стол столько всякого загадочного снаряжения, что хватило бы Робинзону Крузо для освоения необитаемого острова. – О мой бог, я ее показывала одной особе и потеряла! Я верну карточку и отдам вам! А сегодня я сама пойду в театр. В Немецком театре дают оперу Верди... или не Верди?.. Какую-то итальянскую оперу дают, и я однажды слышала в антракте итальянскую речь. Оказывается, в Риге есть и другие итальянцы, кроме прощелыги Мазарини! И они ходят в театр, представляете? Я хотела спросить их о Мазарини, но в последнюю минуту поняла – соврут, черт побери, и еще раз побери!

– Значит, завтра утром я буду иметь честь навестить вас, – быстро сказал Лабрюйер. – Всего доброго, госпожа Крамер, приятно было познакомиться! Примерно в это же время, в вашем номере!

И он выскочил в коридор.

Дама вывалила на него столько разных сведений, что в них не мешало бы разобраться без суеты.

Поиск итальянцев в театре показался Лабрюйеру странным и подозрительным занятием. Ведь Минни и Вилли исправно бегают на все оперные спектакли, они бы заметили столь необходимых им итальянцев, однако этого не произошло. Возможно, госпоже Крамер просто повезло... или же госпожа попросту врет, но с какой целью?..

Нужно было посоветоваться – с кем?.. С Енисеевым? Лучше бы с Росомахой. Но формально наблюдательный отряд возглавлял Хорь. Впервые Лабрюйер подумал, что это просто замечательно. Нужно изложить все подробности странной встречи Хорю – а он пускай совещается с Горностаем.

Хорь, выслушав донесение, поступил именно так, как должен был бы поступить мужчина, влюбленный в хорошенькую девушку: он первым делом телефонировал Минни и Вилли, вызвав их на свидание. Одна без другой не пришла бы, и Хорь сказал:

– Слушай, Леопард, будь другом. Поведи куда-нибудь эту Минни, в лабораторию, что ли, всю нашу кухню ей покажи...

– А ты, не снимая юбки и парика, начнешь обхаживать Вилли? – прямо спросил Лабрюйер. – А потом ты, в своем природном виде, объяснишь Вилли, что был фотографес-сой-эмансипэ, на которую рижане ходили смотреть, как на дрессированного бегемота?

Хорь повесил голову. Ситуация и впрямь была самая дурацкая. Лабрюйеру стало жаль парня.

– Да отвлеку я эту Минни, отвлеку. Только что скажет Вилли, когда ты полезешь к ней целоваться?

– Девицы, между прочим, в щечку целуются!

– Ты еще успеешь как следует побриться.

– Черт!!!

Хорь исчез – со скоростью свиста умчался в лабораторию, куда была проведена вода, греть кастрюльку на спиртовке, взбивать пену помазком, готовить горячий компресс из мокрого полотенца, приводить свои щеки в поцелуйное состояние. Лабрюйер рассмеялся. Водевильное положение, в которое угодил Хорь, было воистину трагикомическим.

Вилли и Минни ворвались в фотографическое заведение вместе с начавшейся метелицей, обе – румяные, со снежинками во взбитых волосах; они с хохотом поочередно повернулись к Лабрюйеру спиной, чтобы помог раздеться, и он остолбенел – в воздухе запорхали их шали, взлетели и опустились куда попало шапочки, аромат нежных цветочных духов заполнил пространство салона.

Хорь выбежал к ним – уже без нелепого банта на груди, улыбаясь так, как будто ему принадлежало все счастье вселенной.

С немалым трудом Лабрюйер усадил молодежь возле столика с альбомами.

– Вы, барышни, ведь часто ходите слушать оперы? – спросил он.

– Да, конечно!

– Как же вы не обратили внимание на компанию итальянцев, которые бывают в Немецком театре?

– Как? У нас? Итальянцы?

– И в антрактах говорят по-итальянски.

– Не может быть!

Тут Лабрюйер узнал много нового о театральной публике.

Звонкоголосые барышни немного утомили его – ему казалось, что уже звенит в голове, в самой серединке.

– Не сходить ли нам сегодня на Верди? – спросил он.

– Сегодня, Верди? Но сегодня же нет спектакля!

В который уже раз за день Лабрюйер помянул тихий приют на Александровских высотах. Он решил, что утром все же сходит на встречу, но встреча, скорее всего, будет последней. Нельзя тратить время на безумных бабушек, когда столько дел.

Хорь меж тем сидел чуть ли не в обнимку с девушками и развлекал их историями из московской театральной жизни. Он несколько раз слушал в Большом театре Собинова – самого Собинова! – которого даже в «Ла Скала» петь приглашали. Минни и Вилли восторженно выпытывали подробности, они-то были знакомы с красавцем-тенором только по грампластинкам.

Потом девушки, уговорившись о походе на «Демона», убежали.

Уж на что Лабрюйер не разбирался в дамских нарядах, а и он понял: придется срочно добывать приличное платье для Хоря, потому что одно дело – маскарад в фотографическом заведении, а другое – настоящий выход в свет, и он сам прекрасно понимает, что не должен своей внешностью и манерами опозорить спутниц. Они забрались в лабораторию и стали изобретать способ купить дамское платье на глазок, без примерки. Оттуда Хоря вызвал Пича, помогавший брату в салоне. Хоря срочно требовал к телефонной трубке Барсук.

– Да, так, – сказал Хорь. – Ну да. Я так считаю. Другого способа нет. Да, сегодня. Я там был, я знаю местность. Действуй. И Горностаю скажи – я так решил, так и будет.

Завершив короткий разговор, Хорь повернулся к Лабрюйеру.

– Я в ночь выхожу. Когда приду – сам не знаю. Может, утром, может, днем. Сейчас прилягу. Может, удастся поспать...

Хорь посмотрел в окошко, на улице уже почти стемнело, и Лабрюйер понял этот взгляд: темнота способствует сну, это прекрасно.

– Для меня будут распоряжения? – спросил Лабрюйер.

– Да, конечно. Если я в течение суток, считая от сего часа, не дам о себе знать, пошлешь Пичу... где карандаш?... Я напишу адрес, это – комната, которую снимает Барсук в Задвинье,

мы можем быть там. На самый крайний случай... ну... в общем, пойдешь в Александроневский храм и закажешь сорокоуст за упокой души воина Дмитрия с дружиною.

– Дмитрий – это ты?

– Я. Телефонировать в столицу, уйдешь отсюда, все оставишь на Круминей, снимешь жилье где-нибудь на окраине и будешь ждать другого наблюдательного отряда.

– Что вы собрались делать?

– Есть подозрение, что наши приятели из Эвиденцбюро ночью заберутся в дирекцию «Мотора», чтобы покопаться в чертежах и документах. Есть подозреваемый, который их впустит. Дыра в заборе даже подготовлена!

– Хорь, эта дыра была там всегда.

– Почему ты знаешь?

– Закон природы, Хорь. Ты завод, фабрику или мастерскую хоть двухсаженной каменной стеной обнеси и роту сторожей приставь – круглосуточно вокруг ходить, а дыра будет. Помоему, она самозарождается разом с забором. И все рабочие будут о ней знать, даже мастера, и никто не проболтается.

– Почему?

– Потому что – кормилица! Они через эту дыру всякое добро из цехов таскают и к знакомым скупщикам несут.

– Значит, в этом деле могут участвовать и рабочие?

– Конечно, могут, – смутно представляя себе, как наблюдательный отряд вышел на след злоумышленников, ответил Лабрюйер. – Рабочего, Хорь, обольстить легко. Они после пятого года еще не уgomонились толком. Все им свобода, равенство и братство мерещатся.

– Но ведь будут когда-нибудь свобода, равенство и братство? – неуверенно спросил Хорь.

– Разве что на том свете. Вот какое у меня равенство с Минни и Вилли? Какое братство у директора завода со слесарем? И какая, к черту, свобода, когда ты зависишь даже от булочника? Не испечет он хлеба – и сиди со своей свободой голодный.

– Но вот Робинзон Крузо сумел же все на острове устроить. И не голодал!

– Он только и мечтал, чтобы обменять свою свободу вместе с устройством на самую жалкую комнатенку в Лондоне...

Хорь не ответил, а молча пошел в закуток, где было оборудовано ложе.

Лабрюйер сел с Яном проверять книгу заказов. Для съемки нужен дневной свет, никто не придет в фотографическое заведение в потемках. Разобравшись с книгой, Лабрюйер отправил Яна домой и сел вычерчивать схему своего розыска, отмечая живых пустыми кружочками. А мертвых – заштрихованными. Мыслительной работе помешала госпожа Круминь, решившая, что сейчас самое время вымыть в салоне полы.

– А у семейства Краузе совесть нечиста! – вдруг объявила она.

– Какого такого Краузе?

– Того самого, что елку опрокинул. Сам Краузе, когда были беспорядки, ни в чем не повинных людей погубил, донес на них.

– Откуда вдруг такие сведения? – удивился Лабрюйер. И оказалось – госпожа Круминь, сильно невзлюбив семейство Краузе из-за опрокинутой елки, которую она наряжала с таким старанием, в свободное время совершила обход приятельниц, живших на Романовской и много чего знавших про события пятого и шестого года. Она имела цель – узнать побольше пакостей про Краузе, и цели своей достигла.

И пятый, и шестой год были для рижан тяжким испытанием. Уличные бои, вспыхивавшие возле фабрик и заводов, стрельба из чердачных окон по драгунам и солдатам, аресты, порой совершенно необъяснимые, объявленное наконец генерал-губернатором Соллогубом военное положение, обыски прямо на улицах, нелепые действия военных патрулей, отнимавших револьверы даже у полицейских, – вспоминать все это Лабрюйеру вовсе не хотелось. Воз-

можно, потому, что как раз тогда он и двух дней подряд не бывал трезвым. А вот госпожа Круминь увлеклась своим докладом.

– Эти Краузе живут на Романовской, в двадцать втором доме, а как раз напротив, в двадцать пятом, эти сумасшедшие студенты и актеры устроили свой комитет – федеральный, что ли, комитет. Туда всех тащили, кто под руку подвернется, сами судили, сами в них стреляли – господин ведь помнит, что у Гризиньской горки чуть ли не каждый день покойников находили. Лежит – а у него десять дырок в груди! Малому ребенку понятно – расстреляли, а за что – только Боженька знает. Вот к ним Краузе и пошел с доносом.

– Откуда вы это знаете, госпожа Круминь? – пораженный уверенностью супруги дворника, спросил Лабрюйер.

– Так все же знают! У Краузе племянник там просто поселился, в этом проклятом комитете. Это его сестры сын, фамилия другая. Но соседи же все знают. Студент-медик, куда потом девался – непонятно. Может, его самого расстреляли. Туда ему и дорога! Это через него Краузе донос отправил!

– И на кого же он донес?

Лабрюйер не хотел копаться в тех давних и кровавых событиях – он просто решил дать госпоже Круминь выговориться.

– На Гутера – Гутеру он был должен. Анна Блауман тогда у них служила, она знает – Гутер за долгом приходил, ругался. Две тысячи рублей!

– Немало!

– Моему муженьку за такие деньги пришлось бы пять лет работать – не есть, не пить, новой рубахи не сшить, тогда бы столько заработал. А у богатых две тысячи – фью! Как дым в трубу! За один вечер потратить могут!

– Но ведь в доносе он этого написать не мог.

– Нет, конечно, в доносе было – что Гутер, и Крюгер, у Крюгера была отличная столярная мастерская, и Хуго Энгельгардт – все в «черной сотне» состояли и бунтовщиков полиции выдавали. А как проверишь? Крюгеру Краузе тоже был должен, а с Энгельгардтом иначе вышло – госпожа Краузе его единственная наследница. Они втроем пошли в ресторан «Тиволи» – нашли время ходить по ресторанам! Там их и взяли. Той же ночью судили – и на Гризиньскую горку! А потом эти студенты поняли, что дело плохо, и разбежались кто куда. Кого-то родители с перепугу чуть ли не в Америку отправили, кто их там найдет! Кто-то, говорят, в Голландии спрятался. Теперь их так просто не найти.

– Гутер, Гутер... – пробормотал Лабрюйер. – Не тот ли, у кого была хорошая лавка возле Верманского парка?

– Тот, тот!

Фамилия Энгельгардт тоже была знакома. Немного помолчав, Лабрюйер вспомнил – еще будучи агентом, разбирался с делом о воровстве, ходил по квартирам нового дома, в списке свидетелей значился Хуго Энгельгардт, но оказалось, что в нем нет нужды – все необходимое рассказали соседки с нижнего этажа.

– А Краузе теперь живет в роскоши. Жена получила хорошие деньги от Энгельгардта, от долгов он избавился – чего же не жить?

– И его племянник – тоже в Америке?

– Нечистый его знает, куда сбежал. Вот такие они, эти Краузе. Все о них знают, а доказать никто не может. С судом связываться – ты же и окажешься во всем виноват. А пусть господин Лабрюйер тоже знает!

– Может, это всего лишь слухи? – предположил Лабрюйер.

– Вы на этого Краузе и на его женушку посмотрите! Они дурные люди, и это не слухи. Я-то теперь знаю, кто там сидел, в этом комитете.

– А раньше не знали?

– Так я же с детьми в Майоренхоф уехала! Там потише было. Дачи стояли пустые, кто в такое время туда купаться поедет? Я за гроши комнатуху сняла. Муженек здесь остался, слава богу, уцелел. А потом – я же не полицейский сыщик, чтобы за убийцами гоняться. Если бы этот Краузе меня не рассердил – я бы никогда не узнала, что он за свинья.

Домыв пол и попросив у Лабрюйера в счет будущих услуг полтинник, госпожа Круминь ушла.

А Лабрюйер впал в тоску.

Он не думал, что станет так беспокоиться о наблюдательном отряде. И даже легкую обиду вдруг обнаружил в душе: все на дело пошли, его с собой не взяли. Но кто-то же должен в случае провала принять новый наблюдательный отряд и передать ему все немногие ниточки, ведущие к загадочной персоне предателя.

Он не пошел домой ночевать, он устроился в закутке, положил у подушки заряженный револьвер, подтащил к ложу стул, на стуле установил свечу, попытался хотя бы думать об ответном письме, но умные мысли в голову не приходили. Он взялся перечитывать письмо Наташи, поразился тому, как складно у нее все получается, и понял, что ему такой легкости в сочинительстве посланий не дано. И дальше он просто лежал, глядя в потолок и ожидая – не стукнет ли дверь черного хода.

Хорь и Росомаха пришли в шесть часов утра. Именно пришли – зимней ночью в Задвинье изловить ормана трудновато. Шесть верст по морозцу для Хоря – пустяк, Росомаха тоже был бодр и румян, оба – в том состоянии, когда возбуждение сильнее усталости и не даст так просто заснуть.

Лабрюйер кинулся к двери, чтобы спросить: ну, что, как?

Росомаха вошел первый и приложил палец к губам. Лабрюйер немного удивился – что бы сие значило. Но, увидев хмурую физиономию Хоря, понял – лучше вопросов не задавать. Хорь молча прошел в закуток, стянул сапоги, разделся, потом в одном исподнем прошел в лабораторию.

– Не трогай его, – шепнул Росомаха. – Ему сейчас выпить бы ну хоть шнапса.

– Так он и пошел за шнапсом.

Лабрюйер знал, что у Хоря там припасен штофчик зеленого стекла – на всякий пожарный случай.

– Не повезло нам, – сказал Росомаха. – Только спугнули эту сволочь. Теперь все заново придумывать.

– Не все коту масленица, бывает и великий пост, – ответил Лабрюйер.

– А знаешь что? Давай выпьем чаю, – предложил Росомаха. – Я не замерз, но что-то такое требуется, а что – и сам не знаю.

Из лаборатории вышел Хорь.

– Я сопляк, вообразивший себя Наполеоном, – сказал он. – Меня в богадельню отправить надо, горшки за стариками выносить.

И опять ушел в лабораторию.

– Лучше бы отрядом командовал Горноста́й, – заметил Лабрюйер.

– Лучше, да. По крайней мере, этой ночью. Но даже если бы Горноста́й – все равно... Упустили всех, понимаешь? Да еще нас какой-то дурак заметил, кричать стал. И придется начинать, как говорится, с нуля. Ты его сейчас не расспрашивай, – Росомаха мотнул головой, указывая на дверь лаборатории. – Он не в себе. Пока шли – чего я только не наслушался. А парень – золото! План операции ведь он составил. И сам же... Да что говорить... И на старуху бывает проруха... Его, Хоря, ведь для больших дел готовят, понимаешь? И он это знает. И вдруг – такая незадача...

Лабрюйер поглядывал на спиртовку. Над ней на треножнике была установлена кастрюлька, в которой воды – на две чайные чашки.

– Режь сало, – сказал он Росомахе, – я хлеб нарежу.

– Как он там? – прислушавшись к тишине, спросил Росомаха. – Плохо ведь ему...

– Да, сам вижу. Ты ешь, ешь...

– А ты, вообще, какого лешего тут сидел?

– Вас ждал. Теперь уже и ложиться нет смысла. Мне с утра в «Северную гостиницу».

– А меня, знаешь, в сон потянуло.

– Ступай в закуток, хоть часа два подремли. А я – домой, переоденусь, побреюсь, усы подправлю.

– С дамой, что ли, randevу?

– Видел бы ты эту даму!

В «Северную гостиницу» Лабрюйер пришел раньше времени – в девять часов. Он хотел спокойно позавтракать в ресторане, а заодно расспросить персонал о госпоже Крамер.

– Опоздали, сударь, – сказал знакомый коридорный. – Убралась она!

– Как – убралась?

– Спозаранку ее увезли.

– Как – увезли?!

– Господин за ней приехал, сразу – в номер, и сам ее чемоданы вынес. В автомобиль – и увез!

– А она?

– Она за ним тащилась, охала, бормотала. Как будто силком увозил!

– Черт побери, и еще раз побери... Ну-ка, братец, опиши мне того господина.

Коридорный задумался.

– Ну, что, он выше меня, ниже меня?

Лабрюйер знал, что человеку, не имеющему, как полицейский агент, навыка оценивать внешность и выделять в ней особые приметы, требуется помощь.

Терпение в конце концов вознаграждается. И получаса не прошло, как Лабрюйер добился подробного описания загадочного господина. Спросив у метрдотеля карандаш и бумагу, он записал: «На вид лет тридцати пяти. Ростом шести с половиной вершков, узкоплеч и худ, усы черные, небольшие, нос прямой, тонкий, брови также черные, рот невелик, кожа смуглая, говорит по-немецки не с рижским выговором, можно принять за француза или итальянца, тужурка вроде шоферской, клетчатая, клетки едва различимы, серые брюки из хорошей материи, сапоги нечищенные, шапка меховая коричневая». Рост он записал, держа в уме, как это обычно делалось, два аршина.

Потом Лабрюйер попросил, чтобы его пустили в номер, который занимала госпожа Крамер.

Монументальная дама, собираясь впопыхах, разбросала и забыла кучу мелочей. Лабрюйер посмотрел на кавардак и велел принести старую газету. Из газеты он свернул не то что фунтик, а целый фунтище, куда покидал свои находки. И с этим приобретением он, перебежав дорогу, вошел Полицейское управление. Там его отлично помнили и препроводили к Линдеру.

– Доброе утро, – сказал ему Лабрюйер. – Конечно, превеликое тебе мерси за то, что познакомил с очаровательным созданием...

– Ты меня спас, – ответил Линдер. – Садись. После бессонной ночи – еще и старая ведьма. Я бы не выдержал.

– Мне нужны имена тех родственников, которых она искала.

– Этих людей нет в природе. В Риге – так точно нет.

– А ты все-таки дай мне ее заявление в полицию.

– Зачем тебе?

– Она рано утром уехала со всеми вещами. Увез ее мужчина, который, если верить персоналу гостиницы, имеет над ней какую-то власть. И как бы тебе не пришлось освидетельствовать ее тело.

– Почему ты так считаешь?

– Потому что дама завралась. Мне она сказала, будто ищет сбежавшую дочь, а дочь якобы сманил заезжий итальянец. Она даже связно объяснила, почему ищет эту парочку в Риге. И вот ее увозит из «Северной гостиницы» человек то ли с французской, то ли с итальянской внешностью. Вот...

Лабрюйер положил перед Линдером листок, тот изучил описание.

– Какая-то нелепая история, – сказал Линдер. – Пока это смахивает на побег бабушки, у которой не все в порядке с мозгами, от опекунов. Похоже, за ней просто приехал родственник и увез ее домой.

– И такое может быть. Она слишком много врал.

Десять минут спустя Лабрюйер вышел из полицейского управления, унося фунтик с дамскими мелочами и листок с именами и фамилиями несуществующих людей – трех женщин, одного мужчины.

Енисеев был прав – Лабрюйер умел брать след и идти по следу. Утреннее похищение госпожи Крамер показалось ему подозрительным – отчего похититель не подождал, пока дама спокойно встанет, умоется, оденется? Что за спешка? Так уж он боялся, что сумасшедшая старуха ни свет ни заря натворит опасных глупостей? Пары часов обождать не мог?

Ноги сами несли Лабрюйера по Театральному бульвару и далее – кратчайшим путем в фотографическое заведение. А голова трудилась независимо от ног, голова уже впала в хорошо ей знакомое состояние погони.

Отчего коридорный ни слова не сказал о том, откуда в гостинице взялся щуплый господин в тужурке и меховой шапке? Если бы ворвался с улицы – стал бы гостиничный персонал скрывать этот факт. Не сидел ли этот господин с вечера в «Северной гостинице»? И очень даже просто – дал горничной полтинник, и она закрыла его в пустом номере.

Дальше действия Лабрюйера стали бы подарком для докторов с Александровских высот.

Он свернул в маленький парк возле театра, сгреб снег со скамейки, уселся и стал выкладывать из газетного пакета свою добычу. Вскоре на скамейке лежали три дырявых чулка, пустая картонная бонбоньерка с розочками на крышке, пустая коробка из-под пастилы, баночка, в которой на дне лежали белые шарики, числом три, – что-то медицинское, несколько скомканных бумажек, ленточка от дамского белья. То есть Лабрюйеру достался сущий мусор, который госпожа Крамер, естественно, не стала брать с собой. Он развернул бумажку и задумался.

Это была страница из блокнота для записи расходов и доходов. Что-то дама намудрила с арифметикой, потому выдернула и выбросила листок. Но можно было понять, что она приобрела ноты и потратила на это пять с половиной рублей.

Подумав, Лабрюйер сгреб добычу в фунтище и направился к Новой улице, к книжному магазину Дейбнера, где в уголке зала можно было приобрести ноты. Он сам там брал их, особенно старые, но только очень давно. Это был последний из магазинов Дейбнера, оставшийся в Риге, – мудрый хозяин после беспорядков 1905 и 1906 годов перенес все свои дела в Германию.

В магазине Лабрюйер сказал, что ищет пожилую родственницу-меломанку, у которой большая беда с памятью – выйдя из дому, не знает, как вернуться обратно. Он предположил, что она попытается купить ноты, и вот обходит все места, где это возможно.

Так он выяснил, что госпожа Крамер действительно была в магазине Дейбнера и даже приобрела оперные партитуры – Россини, Беллини, Доницетти.

– Такая почтенная, серьезная дама... – продавец, юноша в круглых очках, развел руками. – Кто бы подумал! Такая благовоспитанная...

– Да, она очень увлекается итальянской оперой, – сказал Лабрюйер. – И прекрасно ведет себя в обществе. Только памяти у нее уже не осталось. Что же, будем искать дальше.

С одной стороны, если госпожа Крамер не врала и ее дочь увлекается музыкой, то, может статься, она унаследовала эту страсть от матушки. С другой – была ли эта дочь вообще в природе?

Лабрюйер вернулся в «Северную гостиницу» и убедился в своих подозрениях: похоже, похититель там тайно переночевал, а значит, именно эту цель себе поставил – увезти госпожу Крамер спозаранку. Он решил задать еще один вопрос метрдотелю – о кельнерах, трудившихся вчера в зале. Это была смутная догадка, совсем смутная, как легчайшая и тающая тень дыхания на зеркале. Но кельнер Карл сказал – человек, сходный по описанию с похитителем, завтракал в ресторане одновременно с Лабрюйером и госпожой Крамер. Только что был не в тужурке, а в обычном сером пиджаке. И имел немалую лысину.

Лабрюйер отдал знакомому коридорному пакет с дырявыми чулками, приказав выбросить, но листок из блокнота фрау Крамер сунул в карман. Затем он поспешил к трамвайной остановке у Немецкого театра – хотел поскорее попасть в свое фотографическое заведение.

Повернувший на Театральный бульвар с Большой Песочной трамвай полз неторопливо, снизу вылетал на рельсы веер песка, и Лабрюйер поневоле рассердился: черепаха, да и только!

Городские улицы жили обычной жизнью – дворники убирали снег и конский навоз; переругивались, случайно задев друг друга, орманы; пролетали автомобили, которых по зимнему времени стало заметно меньше; перебежали дорогу в неположенных местах прохожие. И падал сверху снег – Лабрюйер, стоявший на открытой задней площадке трамвая, даже поймал губами большую пушистую снежинку. Хоть это порадовало душу...

Глава четвертая

В салоне Лабрюйер обнаружил Яна, Пичу и госпожу Круминь. Ян деловито усаживал перед зимним фоном пожилую пару, госпожа Круминь при помощи самодельного клейстера и папиросной бумаги чинила альбом с карточками – кто-то из клиентов надорвал страницы. Пича же возил взад-вперед фотографический аппарат из орехового дерева, делая вид, будто сейчас найдет нужный ракурс и примется снимать. Он тоже хотел стать фотографом – кроме тех дней, когда, получив нагоняй за невыученные уроки, собирался на дикий Кавказ, в шайку абрека Зелимхана, любимца всех мальчишек. Пича собирал газетные вырезки, где говорилось о Зелимхане, обменивался ими с однокашниками и явно строил планы побега.

– Меня никто не искал? – спросил Лабрюйер.

– Нет, господин Лабрюйер, – кратко ответил Ян.

– Фрейлен Каролина ушла домой. Сказала, у нее голова болит, – добавила госпожа Круминь. – Никто из господ не заходил.

Она имела в виду наблюдательный отряд.

Хорь появился вечером, когда Ян, Пича и Лабрюйер справились с заказами. Он был в образе фрейлен Каролины, но плоховато с этим образом справлялся.

– Почему вы делаете мою работу? – сварливо спросил Хорь. – Я что, уже не в состоянии?

– Когда у дамы внезапная головная боль, лучше ее на время освободить от обязанностей, – недовольный его тоном, отрубил Лабрюйер. Он понимал, что в наблюдательном отряде старшие заботятся о Хоре и по-своему балуют его, но нужно же и меру знать.

Лабрюйер совершенно не желал ссориться с Хорем, а тот, видимо, как раз искал предлога, чтобы выкричать свое дурное настроение.

– Я пойду ужинать во «Франкфурт-на-Майне», – сказал Лабрюйер.

– Приятного аппетита, – буркнул Хорь.

Лабрюйер оделся, перешел Александровскую, кивнул швейцару и ощутил ладонь на своем плече. Он резко повернулся и увидел Енисеева.

– Я вовремя пришел. Не придется за тобой посылать. Устал, как собака, и голоден, как волк, – пожаловался Енисеев.

Они вошли в вестибюль, разделись, их отвели к хорошему столику в зале.

– Мы потерпели фиаско, брат Аякс, – сказал Енисеев. – А ты?

Если бы не это осточертевшее «брат Аякс» – Лабрюйер, возможно, рассказал бы Енисееву про свое приключение с госпожой Крамер. А так – вообще пропало желание что бы то ни было рассказывать.

– Я жду сообщения из Москвы от господина Кошко. И я просил сделать запрос в полицейское управление Выборга. Мне нужно знать все о девочке, которая там пропала, нужно знать обстоятельства, нужно знать также, далеко ли она жила от воды.

– Какой воды?

– Там вроде должен быть Финский залив, если школьная география не врет. Есть предположение, что у преступника своя лодка или даже яхта. Все три тела в Риге обнаружены или в реке, или в двух шагах от реки. Если удастся доказать, что выборгскую девочку вывезли на яхте, это – доказательство, что маньяк богат, имеет положение в обществе и ему есть что терять, отсюда и шантаж.

– Так... В Риге есть яхтклубы?

– Да, разумеется. На Кипенхольме, где поднято одно из тел, даже два – Лифляндский и Императорский Рижский.

– Я не сомневаюсь, что ты из-под земли выкопаешь своего маньяка... – буркнул Енисеев. – Другие версии нужны! А у тебя на нем свет клином сошелся. Можно подумать, в Риге только одно это и случилось. А в пятом году мало было, что ли, гадостей?

Лабрюйер вспомнил самовольное расследование госпожи Круминь.

– В пятом году были лживые доносы, но настоящие преступники не стали ждать, пока их отправят в Сибирь, сбежали. Вон два года назад в газетах писали – одна парочка в Лондоне вынырнула. Я даже фамилии запомнил – Сварс и Думниекс. Сперва вообразили себя анархистами, потом вздумали ограбить ювелирный магазин, стали пробиваться туда сквозь стенку из соседней квартиры, хозяин услышал, побежал в полицию. За ними пришли полицейские – они стали отстреливаться, пятерых, кажется, уложили. Потом в другой дом успели перебежать и там целое побоище устроили, против них две сотни полицейских послали – не смогли их взять. Оружия у них было – на целую дивизию. В конце концов к дому притащили батарею полевой артиллерии и всерьез собирались стрелять. Но по особой Божьей милости дом как-то сам загорелся сверху, перекрытия рухнули, тут нашим голубчикам и настал конец.

– Ничего себе... Думаешь, все бунтовщики разбежались? – в голосе Енисеева было великое сомнение. – Я так полагаю, прирожденные анархисты разбрелись по свету, а студенты из хороших семей понемногу стали возвращаться. Давай-ка, брат Аякс, искать злодеев и помимо твоего драгоценного маньяка. Конечно, покарать его, сукина сына, следует, и жестоко, но лучше бы ты сдал все, что наскреб по сусекам, своему другу Линдеру и попробовал идти другими путями.

Лабрюйер понял, что вот теперь он от маньяка уже не отступится.

– Я поищу другие пути, – сказал он. – Более того, один путь на примете у меня имеется.

Он имел в виду жалкого воришку Ротмана. Ротман, конечно же, врал – кто из этой публики не врет? Но Енисеев хочет непременно получить преступника родом из 1905 года – вот пусть и убедится, что искать такого человека – большая морока, нужно всю Ригу и окрестности перетрясти в поисках несправедливо обиженных.

– Это славно, брат Аякс. Ты пока доложить о нем не хочешь? Нет? Ну, это я понимаю – доложишь, когда будет что-то, так сказать, материальное.

– Хорошо.

Лабрюйер был готов даже предъявить Ротмана – пусть Енисеев сам его вранье про племянника слушает.

– Как там Хорь? – спросил Енисеев.

– Злится на всех.

– Это понятно! А на себя?

– Собрался идти на службу в богадельню.

Енисеев рассмеялся.

– Хоть он и испортил дело, а сердиться на него нелепо – каждый из нас мог точно так же испортить, ночью, да на бегу, да в суете... Ничего, начнем сначала. Судьба у нас такая...

Пожинав, Енисеев ушел, а Лабрюйер вернулся в фотографическое заведение. Там было пусто, куда подевался Хорь – непонятно. Забравшись в лабораторию, Лабрюйер опять достал Наташино письмо и опять задумался: ну, что на такое отвечать?

Единственная умная мысль была – посоветоваться с Ольгой Ливановой. Ольга – молодая дама, счастливая жена и мать, Наташу знает уже очень давно, и как принято говорить с образованными молодыми дамами – тоже знает. Но как это устроить?

Время было позднее, Лабрюйер пошел домой и на лестнице возле своей двери обнаружил Хоря – в штанах и рубаше, на плечи накинуто дамское широкое пальто. Хорь сидел на ступеньках и курил изумительно вонючую папиросу.

– Ты тоже считаешь, что я разгильдяй и слепая курица? – спросил Хорь.

– Ничего я не считаю. И никто так не считает.

- Горностаи! Я же вижу! Он так смотрит! Сразу понятно, что он о тебе думает!
- Он иначе смотреть не умеет.

Лабрюйер отпер дверь, вошел в прихожую, обернулся.

– Тебе письменное приглашение? Золотыми чернилами и с виньетками? – любопытствовал он.

Хорь молча поднялся, погасил папиросу и вошел в Лабрюйерово жилище.

– Я должен как-то оправдаться. Он должен понять, понимаешь?.. И все должны понять! Если меня сейчас отправят в столицу, я застрелюсь.

- Почему вдруг?
- Потому что когда суд чести – виноватый обязан застрелиться.
- Какой еще суд чести?
- Офицерский.

Тут Лабрюйер впервые подумал, что весь наблюдательный отряд – офицеры. Жандармское прошлое Енисеева не было для него тайной, а вот что Хорь тоже имеет какое-то звание – раньше и на ум не брело.

- Тебя что, осудили?
- Я сам себя осудил. Я знаю, почему это все случилось. Вот, полюбуйся!

Хорь неожиданно достал револьвер.

– Ты что, с ума сошел?! – заорал Лабрюйер. – Покойника мне тут еще не хватало!

Хорь вытянул руку, словно целясь в Лабрюйера.

– Видишь? – спросил он. – Видишь?! А если бы из-за меня Барсук погиб?!

Рука дрожала.

– Дурака я вижу!

Лабрюйер шархнулся в сторону, кинулся на Хоря, с хваткой опытного полицейского агента скрутил его и отнял револьвер.

– Институтка! Истеричка! – крикнул он. – Барынька с нервами! Подергайся мне еще!

Для надежности он уложил Хоря на пол лицом вниз и еще прижал коленом между лопаток. Продержав его так с минуту, Лабрюйер поднялся и ушел в комнату, оставив открытыми все двери – в том числе и на лестницу.

Хорь встал, постоял и тоже вошел в комнату.

- Истерик больше не будет, – сказал он. – Я знаю, что я должен делать.
- Вот и замечательно.
- Где мой револьвер?
- Завтра отдам. Он тебе ночью не нужен. Иди спать.

Хорь постоял, помолчал и ушел.

Лабрюйер запер за ним дверь и крепко задумался. Было уже не до любовной переписки. Он видел – Хорь не выдержал напряжения. Да и куда ему – кажись, двадцать два года мальчишке, выглядит еще моложе. Целыми днями изволь изображать фрейлен Каролину, как там про клоуна в цирке говорят – весь вечер на манеже... А когда приходится играть роль – с ней малость срастаешься. Придумало же начальство школу для Хоря!..

А тут еще и Вилли. Хорь не назвал этого имени, но Лабрюйеру такая откровенность и не требовалась.

Понять бы еще, что именно там произошло...

Горестно вздохнув, Лабрюйер стал раздеваться. Потом лег, укрылся поплотнее, уставился в потолок, почувствовал неодолимую власть дремы, обрадовался – и потихоньку уплыл в сон.

Сколько времени этот сон длился – неизвестно. Когда Лабрюйер усилием воли разбудил себя, за окном был обычный зимний мрак. Но нужно было сесть и вспомнить те слова, что он произносил во сне. Там ему удалось написать письмо Наташе Иртенской! И это было замечательное письмо. Вот только хитро устроенная человеческая память этого письма не удержала.

Но во сне Наташа получила письмо и даже, кажется, какие-то строки прочитала вслух. Он вспомнил прекрасный профиль Орлеанской девственницы, изящный наклон шеи, темные кудри на белой коже. Все это присутствовало во сне. И снова, после всех сомнений, он понял, что никуда ему от этой женщины не деться. И придется понимать то, что она говорит и пишет, хотя для обычного нормального мужчины это загадка...

Утром Лабрюйер отправился в фотографическое заведение. Хорь уже был там – по видимости спокойный, деловитый, хотя мордочка осунулась – или плохо спал, или вообще не сумел заснуть. А две бессонные ночи подряд никого не красят.

– Из Москвы телефонировали, – сказал Хорь. – Я записал. Нашли мать убитой Марии Урманцевой. Она от горя забилась в какую-то глушь, названия я не разобрал, там единственный подходящий телефон – за десять верст от усадьбы, в полицейском участке. Сегодня в четыре часа пополудни она там будет, и ты сможешь с ней поговорить. Зовут ее Анна Григорьевна.

– Хорошо, благодарю.

– И еще – к тебе человек приходил.

– Что за человек?

– Нищий какой-то, прихрамывал. Очень огорчился, что не застал.

– Ничего не велел передать?

– Сказал, он какого-то свидетеля нашел. Какого, зачем – не объяснил.

– Ротман, что ли? Вот такой, вроде карлика, – Лабрюйер показал ладонью рост Ротмана. – Мордочка – как у мопса.

– Он самый. Что-то ценное? – заинтересовался Хорь.

– Черт его знает, может, и ценное. Больше ничего не сказал?

– Гривенник попросил. Я дал.

– Это правильно...

– Ушел в сторону Матвеевского рынка.

– У него там где-то логово, – вспомнив воровство в кондитерской, сказал Лабрюйер. – Ну-ка, прогуляюсь я, что ли...

Хорь внимательно посмотрел на него.

Когда Хорь не валял дурака, изображая эмансипированную фотографессу, взгляд у него был живой и умный. Взгляд, выдающий чутье, которое или вырабатывается годами службы, или дается от рождения.

– Револьвер возьми, Леопард, – сказал Хорь.

– Отчего же не взять...

Хорь явно ощутил что-то тревожное. А Лабрюйер уже, оказывается, стал срастаться с «наблюдательным отрядом» – и последовал совету почти без рассуждений, как и полагается в непростой ситуации.

Поскольку визитной карточки Ротман не оставил, следовало начать с кондитерской, а заодно съесть там что-то, что бы порадовало душу и желудок. Была тайная мысль – вдруг Ольга Ливанова опять приведет туда своих ребятишек?

Эта женщина ему очень нравилась. Не так, как Наташа, конечно – а платонически. Она, по его мнению, была той идеальной женой и матерью, которую хотел бы видеть хозяйкой в своем доме любой мужчина: красавица, умница, способная на истинную верность и преданность. Но вот только в кондитерской ее не оказалось...

Лабрюйер съел кусок вишневого штруделя, оценив тонкость раскатанного теста и аромат, выпил чашку кофе со сливками и подождал, пока выйдет пожилая женщина в длинном клеенчатом фартуке, чтобы убрать посуду и поменять скатерти – скатерка в приличной кондитерской должна быть безупречной белизны.

Он спросил, не помнит ли фрау малорослого воришку, что стянул у него кусок яблочного пирога с миндалем.

– Как не помнить, – ответила фрау, очень польщенная таким обращением, и перешла на совсем светский тон: – Тот пьянчужка, что обокрал его, тут часто околачивается, и если он был настолько добр, что не сдал пьянчужку в полицию, то это напрасно – таких бездельников следует выгонять из Риги.

Говорить о собеседнике «он» или «она» было изысканной немецкой вежливостью.

– Не знает ли фрау, где бездельник живет? – поинтересовался Лабрюйер. – Она сделала бы хорошее дело, если бы подсказала, где искать того человека. Она не знает, что он когда-то был уважаемым человеком...

– Может быть, работал на «Фениксе»? – предположила женщина. – Я живу недалеко от «Феникса» и раза два его там встречала.

– Да, у него такая внешность и походка, что их легко запомнить. Я был бы ей признателен, если бы она расспросила соседок, – сказав это, Лабрюйер положил на стол полтинник, деньги для фрау, убирающей грязную посуду, неплохие – день ее работы в кондитерской.

– Он очень любезен, – сказала женщина и, взяв деньги, сделала книксен.

Не то чтобы Лабрюйер жалел всех воришек подряд... Некоторых просто на дух не переносил, и немалое их количество могло бы предъявить дырки во рту на месте выбитых его кулаком зубов.

Ротмана он пожалел случайно. Рождественское настроение, воспоминание о давней погоне по льду, жалкий вид обреченного на голодную смерть старичка – все разом как-то смягчило душу. А вот теперь расхлебывай – ищи этого Ротмана по трущобам!

Но уже хоть было о чем рассказать Енисееву.

В фотографическое заведение Лабрюйер вернулся вовремя – понабежали клиенты, Хорь рассаживал семейство на помосте, Пича тащил туда чучело козы, Ян всюду трудился в лаборатории, а своей очереди ждали две молодые пары, и Лабрюйер пошел развлекать их светской беседой, показывать альбомы с образцами, предлагать различные фоны.

Потом пришел Енисеев. Лабрюйер даже не сразу узнал его – контрразведчик добавил к своим великолепным усам еще и подходящую по цвету бороду.

– Это ты, брат Аякс, еще Росомаху не видел! Он тоже при бороде, – обрадовал Енисеев. – Изображает лицо духовного звания, так молодые дамочки подбегают, благословения просят. Ну-ка, пусть меня сейчас сфотографируют. Хоть на старости лет буду картинки показывать и хвастать, какой был добропорядочный.

– Никаких карточек, – строго сказал Хорь.

– Печально, фрейлен. Это чем запахло?

– Это Пича с черного хода обед нам в судках принес.

– Батюшки-светы, я же забыл пообедать...

Когда Енисеев отворил двери, ведущую в служебные помещения, все стало ясно – запах действительно был ядреный. Пича принес сосиски с тушеной капустой.

– За столом – никаких деловых разговоров, – распорядился Хорь.

– Боишься испортить аппетит? Ну, ладно, ладно! Как начальство велит – так и будет, – не в силах отказаться от вечного своего ехидства, ответил Енисеев.

– Хорь прав. Если начнем толковать о покойниках, точно кусок в горло не полезет, – проворчал Лабрюйер.

В четыре, стоило пробить настенным часам, раздался телефонный звонок. Потребовали господина Гроссмайстера.

– Я слушаю, – ответил Лабрюйер.

– С вами по вашей просьбе будет говорить госпожа Урманцева. Но просьба не затягивать разговор, – строго сказал мужчина, очевидно – кто-то из персонала полицейского участка.

– Разумеется.

Несколько секунд Лабрюйер слушал отдаленный скрежет и перестук. Наконец прозвучало нерешительное:

– Добрый день.

Говорила женщина, причем, видимо, немолодая.

– Добрый день, Анна Григорьевна. Я – Александр Иванович Гроссмайстер.

– Мне сказали, что вы хотите... что вам нужно... простите...

Дыхание незримой женщины стало прерывистым. Лабрюйер понял – заплакала.

– Сударыня, сударыня, может быть, нам лучше поговорить в другое время?

– Нет, нет, сейчас, простите меня... простите, ради бога... моя девочка... Минутку, всего минутку...

Там, за тысячу верст от Риги, кто-то принес женщине стакан с водой, невнятно бубнил – успокаивал как умел. Прошло минуты три по меньшей мере, Лабрюйер терпеливо ждал, не отнимая трубки от уха.

– Простите, Александр Иванович, – наконец сказала женщина. – Я уже могу говорить. Мне сказали – вы полагаете, будто мою Машеньку убил не тот, кого судили?

– Да, я так полагаю. Виноват другой человек. Не тот студент, которого врачи признали невменяемым и пожизненно заперли в больнице на Александровских высотах...

– Где?

– Это – место, где в Риге содержат умалишенных. Там и вменяемый может ума лишиться. Сударыня, я могу задавать вам вопросы?

– Да, конечно, задавайте.

– С девочкой была гувернантка.

– Я же не могла отправить ее одну.

– Гувернантка исчезла вместе с девочкой. Мне нашли бумаги по этому делу. Они обе исчезли двадцатого мая, а двадцать пятого девочку нашли. Гувернантка же больше не появлялась.

– Да, я это знаю.

– Действительно – не появлялась? Не пыталась с вами встретиться? Не писала вам?

Женщина ответила не сразу.

– Нет, встретиться не пыталась...

Лабрюйер отметил эту паузу, сделал зарубочку в памяти и продолжал:

– Есть предположение, будто бы преступник действовал в сговоре с гувернанткой, и она вывела девочку из дома...

– Нет, нет! Что вы такое говорите! Этого быть не могло!

– Почему же не могло? Гувернантка – особа небогатая, ей могли хорошо заплатить.

– Нет, она бы не сделала этого! Совершенно невозможно!

– Почему, сударыня?

– Потому что она... она сестра моей Машеньки...

– Как такое возможно? – Лабрюйер был в полнейшем изумлении.

– Возможно. Я вышла замуж совсем молодой, мой покойный супруг был старше меня на пятнадцать лет. Вы знаете, многие мужчины до свадьбы ведут совершенно ужасный образ жизни. Не все так порядочны, как покойный Викентий Иванович. Он через год после свадьбы рассказал мне про свою внебрачную дочь. Он был в связи с гувернанткой своей младшей сестры, немочкой из Ревеля. Жениться на ней он не мог, но содействовал ее браку с очень приличным человеком, также немцем, жившим в Саратове. То есть эта женщина поселилась там, где о ней никто ничего не знал. Муж помогал деньгами, оплатил образование своей дочери. А потом там, в Саратове, случилось поветрие, вся семья погибла, кроме Амелии, она осталась совсем одна. Он узнал об этом, сказал мне, я видела – он переживает. Я тогда сказала:

нашей Машеньке нужна гувернантка, давай возьмем девушку в дом, потом найдется жених, это будет по-христиански. Она образованная, знает немецкий и французский, хорошо воспитана, ее учили музыке, тут она будет под присмотром... и, в общем... вот так мы решили...

– Эта Амелия знала, что Маша – ее сестра?

– Да, знала. Потому и говорю – она не могла предать, не могла продать!.. – выкрикнула госпожа Урманцева. – Она так привязалась к Машеньке! Не смейте думать о ней плохо!

– Что, если и она погибла? – осторожно спросил Лабрюйер.

– Это вполне может быть, – подумав, ответила госпожа Урманцева.

– То есть, если бы она осталась жива, она бы непременно приехала к вам?

– Да, да, приехала бы. Куда же ей еще ехать?

– Действительно... Госпожа Урманцева, вы сообщили очень важные сведения. Поверьте, я сделаю все возможное...

– Да, да, я вам верю! Может быть, нужны деньги? Я имею средства! Я хотела бы употребить их на поиск убийцы!

– Анна Григорьевна, если потребуется – вам телефонируют. Не беспокойтесь, я понимаю ваше желание и при необходимости прямо обращусь к вам.

– Да хранит вас Господь! Я буду молиться за вас!

– С Божьей помощью мы в этом деле разберемся, – серьезно ответил Лабрюйер.

Тем разговор, в сущности, и кончился.

– Ну, что, Леопард? – спросил Енисеев, слушавший через отводную трубку.

– Врет. Гувернантка ей писала. И хотел бы я знать, что именно. Послушай, мне нужны сведения об этой Анне Григорьевне. Я понимаю, что после смерти дочери можно запереться в усадьбе бог весть на сколько лет. Но вдруг она куда-то выезжала, вдруг нанимала частного агента. Ее прошлое, словом, все, что удастся собрать.

– Ну, какое может быть прошлое у провинциальной дворяночки? Хорошо, я дам задание... – Енисеев пристально посмотрел на Лабрюйера. – Ты что-то учуял?

– Когда мне врут, я думаю: от меня хотят скрыть именно то, что мне было бы необходимо. Если госпожа Урманцева в переписке с гувернанткой, то, может быть, гувернантка и могла бы указать на убийцу. То, что дама сей факт скрывает, очень подозрительно. И заставляет усомниться в высоких моральных качествах сей дамы.

– А не собираешься ли ты зря потратить казенные деньги? – спросил Енисеев. – Кучу времени изведешь, а это окажется всего лишь старый развратник, не имеющий никакого отношения к военным заказам.

– Я это допускаю, – подумав, признался Лабрюйер. – Но я уже стал искать злодеев девятьсот пятого года. Есть у меня один человек, который мог бы дать любопытные сведения.

– Это хорошо. Двигайся в этом направлении. А я, так и быть, затребую досье на госпожу Урманцеву, раз тебе этого хочется.

– Больше всего на свете мне хочется уехать куда-нибудь в Марсель, – признался Лабрюйер, – и сидеть там на набережной, греться на солнышке и вообще ни о чем не думать.

– Мне тоже.

Но вместо марсельской набережной Лабрюйер отправился на Конюшенную улицу, и не теплое французское солнышко, а холодная прибалтийская метель ожидала его в этом путешествии.

Панкратов впустил его не сразу – сперва сквозь дверь задал вопросы о их совместном боевом прошлом. Потом, отворив, извинился – голос-то подделать несложно.

– Ты правильно поступил, – сказал ему Лабрюйер. – Ну, какие новости?

– Вроде никаких.

– Может, поживешь пока у родни?

Покидать свой дом Панкратов отказался наотрез, и Лабрюйер ушел.

Наутро Лабрюйер отправился завтракать в кондитерскую. Он заранее приготовил полтину для своей осведомительницы. И она действительно заслужила эту полтину.

Ротман проживал вместе с двумя такими же обездоленными на Соколиной улице, в подвале. От завода «Феникс» дом отделяла железная дорога, и фрау из кондитерской дала точные приметы. Поселиться там им удалось по простой причине: раньше дом стоял довольно далеко от кладбища, но оно росло, росло и чуть ли не вплотную к забору приблизилось. А кому охота любоваться в окошко на ряды крестов? Поэтому жилье в доме было дешевое, а в подвал хозяин пустил вообще бесплатно – чтобы там жили, по крайней мере, люди, ему известные и безобидные, а не обнаружилось в один прекрасный день пристанище головорезов.

Выходя из дома, Лабрюйер подумал, а надо ли брать с собой револьвер. Ходить с оружием в кондитерскую – как будто странно. Однако он помнил, как Хорь, когда речь зашла о Ротмане, сказал ему:

– Револьвер возьми, Леопард.

Лабрюйер и сам сталкивался с необъяснимыми случаями интуиции. Так что оружие он зарядил и взял. До нужного ему дома было около двух верст, и он решил взять ормана. Шансов встретить Ротмана в подвале было маловато, но Лабрюйер заготовил записку: «Ротман, загляни к тому человеку, который тебя на Рождество колбасой угощал».

Дом был двухэтажный, деревянный, входов два – с улицы и с торца, а вход в подвал – со двора, хотя трудно назвать ничем не огороженное пространство двором. Забор, видимо, когда-то был, но его снесли, и не осталось преграды между домом и кладбищем. Щелястая, наклонно устроенная дверь подвала имела петли для замка, но самого замка не имела.

В подвале было пусто – одни кучи тряпья да старые перины, несколько ящиков, заменявших мебель, и, возможно, крысы. Ради такого имущества не стоило запираť дверь. Однако там было куда теплее, чем на улице.

Лабрюйер несколько раз позвал Ротмана – тот не отозвался. Тогда Лабрюйер выбрался по крутой лестнице с почти прогнившими ступеньками и решил посмотреть, что делается в окрестностях. Его заинтересовало кладбище.

В такое время года, в метелицу, да еще с утра, мало кто ходит навестить дорогих покойников, все могилы – в снегу, разве что явятся землекопы – расчистят площадку и выроют яму гробового размера. Но для чего бы гробокопателям шастать к заснеженным могилам, от которых до двери в подвал – два не два, а шагов всего лишь с три десятка? Ямы глубиной чуть ли не в аршин, запорошенные снегом, могли быть только человеческими следами. И никак не оставленными жителем подвала – они до двери не доходили.

Кто-то со стороны кладбища приблизился к подвалу и ушел обратно.

Хорь не мог знать, что Лабрюйер увидит эти следы, но опасность учуял.

Кто-то день или два назад подходил к дому, но зачем?

Лабрюйер внимательно рассмотрел ту стенку дома, что смотрела на кладбище. Окна были расположены в ряд, но одно выбивалось из общего строя. Оно и размером было меньше прочих. Лабрюйер понял, что это лестничное окно между этажами. Недолго думая, он бежал дом и рванул на себя входную дверь.

Лестница оказалась крутой и грязной. Лабрюйер поднялся к окну. Перед ним был кладбищенский пейзаж, бело-серый, с черными силуэтами деревьев и крестами. Пейзаж наводил на возвышенные мысли: а хорошо бы застрелиться и упокоиться в этой белизне, в этом несокрушимом молчании. Но Лабрюйеру было не до того – он вышел на охоту.

Следы, насколько он видел, шли со стороны улицы Мирной. Складывалось впечатление, что неизвестный противник что-то на кладбище искал. Он не просто обходил белые холмики, из которых торчали кресты, деревянные и каменные, он двигался по дуге. Лабрюйер подумал, что неплохо бы забраться на крышу, чтобы сверху лучше разглядеть следы и понять тактику

противника. Он хотел убедиться, что в центре окружности, которую протоптал противник, именно дом, где поселился Ротман, а возможно, и дверь подвала.

Нужно было предупредить Ротмана и спрятать старика от греха подальше хотя бы в какой-нибудь богадельне. Но пойдет ли он в богадельню, где наверняка строгие правила и куча всяких запретов?

Где днем искать Ротмана, Лабрюйер не знал. Он присел на подоконнике и задумался, глядя на пейзаж. Тишина и белизна завораживали его – как недавно на берегу залива. А кресты – ну, что кресты? Дело житейское...

Время текло, душа сливалась с пейзажем. Душе была необходима пустота – выкинув все лишнее, можно поместить в себя необходимое. А это необходимое – чувство к Наташе Иртенской? Или их странные отношения – обоюдоострая ошибка? Любить нужно женщину, которую понимаешь, а Лабрюйер Наташу не понимал. Даже если бы она ему написала, как ходила к «Мюру и Мерилизу» выбирать себе шляпку – это было бы правильнее, женщина и должна думать о шляпках. Но исповедь?... Этак, чего доброго, ляжешь с ней в постель, а она там вдруг заговорит о том, как в покойного мужа из револьвера стреляла...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.